

от автора бестселлера
Есть, Молиться, Любить

ЭЛИЗАБЕТ
ГИЛБЕРТ



ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ВСЕХ ВЕЩЕЙ

Signatura Rerum



р о м а н

Элизабет Гилберт

Происхождение всех вещей

«РИПОЛ Классик»

2013

Гилберт Э.

Происхождение всех вещей / Э. Гилберт — «РИПОЛ Классик»,
2013

ISBN 978-5-386-06459-4

Время действия: конец XVIII – конец XIX веков. Место действия: Лондон и Перу, Филадельфия и Таити, Амстердам и самые отдаленные уголки земли. Мудрый, глубокий и захватывающий роман о времени, – когда ботаника была наукой, требовавшей самопожертвования и азарта, отваги и готовности рисковать жизнью, – когда ученый был авантюристом и первооткрывателем, дельцом и романтиком, – когда люди любили не менее страстно, чем сейчас, но сдержанность считалась хорошим тоном. «Происхождение всех вещей» – великий роман о великом столетии.

ISBN 978-5-386-06459-4

© Гилберт Э., 2013
© РИПОЛ Классик, 2013

Содержание

Пролог	6
Часть первая	9
Глава первая	9
Глава вторая	16
Глава третья	24
Глава четвертая	30
Часть вторая	37
Глава пятая	37
Глава шестая	49
Глава седьмая	60
Глава восьмая	72
Глава девятая	78
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Элизабет Гилберт

Происхождение всех вещей

Elizabeth Gilbert

THE SIGNATURE OF ALL THINGS

THE SIGNATURE OF ALL THINGS

Copyright © 2013, Elizabeth Gilbert

All rights reserved

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление.

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Что есть жизнь, мы не знаем. Что делает жизнь, мы знаем хорошо.

Лорд Персеваль

Пролог

Альма Уиттакер, рожденная с началом века, пришла в наш мир 5 января 1800 года.

И тут же – почти немедленно – вокруг нее стали формироваться самые разные мнения.

Бросив на младенца первый взгляд, мать Альмы осталась вполне довольна результатом. Прежде Беатрикс Уиттакер не везло в деле производства потомства. Первые три попытки зачать утекли печальными струйками, не успев прижиться. Предпоследняя же – сын, полностью сформировавшийся мальчик, почти успел увидеть этот мир, но потом, в самое утро своего рождения, вдруг передумал и явился на свет уже мертвым. После таких потерь любое дитя сгодится, лишь бы выжило.

Прижимая к груди крепкого младенца, Беатрикс шептала молитву на своем родном голландском. Она просила Бога, чтобы дочь выросла здоровой, умной и рассудительной и никогда бы не сдружилась с теми девицами, что густо пудрят щеки, не стала бы громко смеяться над вульгарными анекдотами, сидеть за карточным столом с несерьезными мужчинами, читать французские романы, вести себя, как не подобает и дикарям индейцам, и позорить приличное семейство каким бы то ни было способом – словом, чтобы она не превратилась в *een onnozjel*, простушку. В этом и заключалось ее благословение – или то, что считала таковым Беатрикс Уиттакер, женщина суровых нравов.

Акушерка-немка из местных пришла к выводу, что роды прошли не хуже других, да и дом этот был не хуже других, следовательно, и Альма Уиттакер – дитя ничем не хуже других. Спальня у хозяев была теплой, суп и пиво подавались без ограничений, мать держалась стойко, чего и следовало ждать от голландки. Кроме того, акушерка знала, что ей заплатят и не посядутся. Любое дитя не грех назвать славным, коли деньги приносит. Поэтому и она благословила Альму, хоть и без особых сантиментов.

А вот домоправительница поместья Ханнеке де Гроот считала, что радоваться нечему. Младенец оказался девочкой, притом некрасивой: с лицом, как тарелка каши, бледным, что твой крашенный пол. Как все дети, эта девчонка принесет много работы. Как вся работа, эта, поди, тоже ляжет на плечи Ханнеке. Но домоправительница все равно благословила дитя, ведь благословение новорожденного – обязанность каждого, а Ханнеке де Гроот от обязанностей никогда не отнекивалась. Она расплатилась с акушеркой и сменила простыни. В трудах ей помогала, хоть и не слишком усердно, юная горничная – разговорчивая деревенская девица, недавно взятая на работу в дом. Та больше на ребенка глаза лупила, чем в спальне прибиралась. Имя девицы не стоит упоминания на этих страницах, так как уже на следующий день Ханнеке де Гроот уволит ее за бестолковость и отошлет обратно без рекомендаций. Тем не менее в тот единственный вечер никчемная горничная, которой было суждено покинуть дом назавтра, ворковала с младенчиком и мечтала о своем таком же. Она тоже благословила Альму – ласково и от чистого сердца.

Что до отца Альмы, хозяина поместья Генри Уиттакера, тот малышкой остался доволен. Весьма доволен. Ему было все равно, что родилась девочка, и притом некрасивая. Генри Альму не благословил, но лишь потому, что считал раздачу благословений не своим делом. («Я в дела Божьи не лезу», – частенько говаривал он.) Зато он искренне *восхитился* своим чадом. Ведь малышка была его собственным произведением, а Генри Уиттакер искренне восхищался всем, к чему приложил руку.

Вознаменование сего события Генри сорвал ананас в самой большой из своих оранжерей и поровну разделил его между всеми домочадцами и слугами. За окном шел снег, как и положено зимой в Филадельфии, но Генри принадлежали оранжереи, которые были построены по его собственному проекту и топились углем – предмет зависти всех садоводов и ботаников на двух американских континентах и источник его несметных богатств, – и, раз ему вздумалось

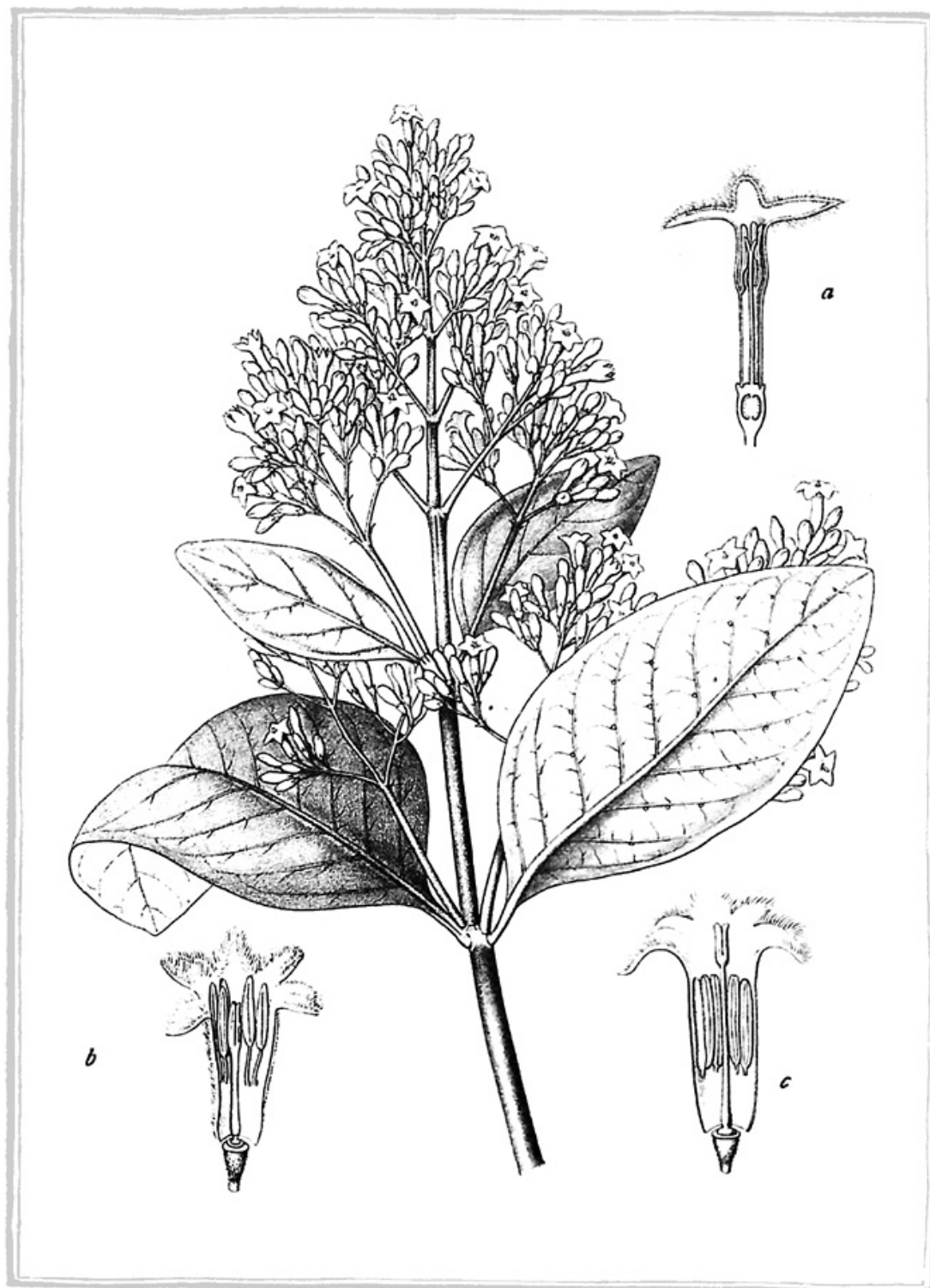
отведать ананасов в январе, Бог свидетель, он мог себе это позволить. Вишню в марте – да пожалуйста.

Затем он удалился в свой кабинет и открыл гроссбух, где каждый вечер делал записи о всякого рода событиях, происходящих в поместье, как делового, так и личного характера. «Сиводни на наш борт взошел новый пассажир, висьма блогородный и любапытный», – начал он и далее описал обстоятельства рождения Альмы Уиттакер, а также указал точное время ее появления на свет и связанные с этим расходы. Чистописание Генри, к его позору, было совсем негодным. Предложения смахивали на городок, тесно застроенный домами: заглавные и строчные буквы жили бок о бок, жалостливо ютятся и налезая друг на друга, и будто рвались уползти за пределы страниц. Написание слов он угадывал, отнюдь не каждый раз попадая в точку, а уж взглянув на знаки препинания, оставалось лишь печально вздохнуть.

Но Генри Уиттакер все равно делал записи в своем гроссбухе. Он записывал все происходящее и считал это важным. Хотя он знал, что любой образованный человек ужаснется, увидев эти страницы, он также понимал, что его каракули никто никогда не прочтет – никто, кроме его супруги Беатрикс. Когда же к той вернутся силы, она перенесет его заметки в свой гроссбух, как делала всегда, и закорючки Генри, переписанные ее изящным почерком, войдут в официальную летопись поместья. Она во всем была ему подспорьем, Беатрикс, и плату за работу не брала. Она выполнит это его поручение, как и сотни других.

С Божьей помощью уже очень скоро она сможет вернуться к делам.

А то бумаг уже вон сколько накопилось.



Cinchona Calisaya, var. *ledgeriana*.

Часть первая Хинное дерево

Глава первая

Первые пять лет своей жизни Альма Уиттакер и вправду была не более чем пассажиром в этом мире, как и все мы в столь раннем детстве, и потому рассказ о ней пока нельзя считать ни наполненным событиями, ни сколько-нибудь любопытным; отметим, впрочем, что ранние годы этой ничем не примечательной девочки не были омрачены болезнью или какими-либо происшествиями, а росла она в окружении роскоши, почти неслыханной в Америке тех времен, даже в богатой Филадельфии. История о том, как отец Альмы стал обладателем столь внушительного состояния, достойна упоминания на этих страницах, тем более что надо чем-то занять себя, пока маленькая Альма растет и не представляет для нас большого интереса. Ведь и в 1800 году, а раньше и подавно, нечасто можно было встретить человека бедного по рождению и почти безграмотного, который стал бы богатейшим жителем города, а уж методы, при помощи которых Генри Уиттакер достиг процветания, безусловно, представляют интерес – хотя, пожалуй, благородными их не назовешь, в чем он сам признавался.

Генри Уиттакер родился на свет в 1760 году в городишке Ричмонд, что стоит на Темзе совсем рядом с Лондоном, вверх по течению. Он был младшим сыном бедных родителей, у которых и без того детей было на пару душ больше, чем надо. Рос Генри в двух комнатах с земляным полом, крыша в их доме была почти не дырявая, ужин на плите варился почти каждый день, мать не пила, отец не лупил домочадцев – одним словом, по меркам тех времен, по сравнению с другими, жили они, можно сказать, шикарно. У матери был даже свой клочок земли за домом, где она растила живокость и люпины – для красоты, прямо как благородная дама. Спал Генри у стенки, а за ней был свинарник; так он и рос, и не было в его жизни ни дня, когда бы он не стыдился своей нищеты.

Быть может, его удел не был бы ему так противен, если бы он не видел вокруг богатства, рядом с которым его собственное существование казалось убогим. Но дело в том, что в непосредственной близости от Генри жили не просто богачи, а особы королевской крови. В Ричмонде был дворец, а при дворце – увеселительные сады, известные под именем Кью. Их со знанием дела разбила принцесса Августа; она привезла с собой из Германии целую свиту садовников, с усердием взявшихся за преобразование диких и скромных английских лугов в искусственный ландшафт, достойный королей. Ее маленький сын, будущий король Георг III, проводил здесь летние каникулы. А взойдя на престол, решил превратить Кью в ботанический сад не хуже любого парка с континента. По части ботаники англичане, засеявшие на своем холодном, промозглом и обособленном острове, плелись в хвосте у всей Европы, и Георг III намеревался это изменить.

Отец Генри служил в Кью садоводом. Это был человек неприметный, но хозяева его уважали, насколько вообще возможно уважать неприметного садовода. У мистера Уиттакера был дар обращения с плодовыми деревьями, к которым он относился с глубоким почтением. («В отличие от остальных, эти благодарят землю за труд», – частенько говаривал он.) Однажды он спас любимую королевскую яблоню – срезал черенок больного дерева, привил к более крепкому побегу и хорошо обмазал глиной. На новом месте черенок заплодоносил в тот же год, а вскоре яблоки уже таскали ведрами. За это чудо сам король прозвал мистера Уиттакера Яблочным Магом.

Несмотря на свои таланты, Яблочный Маг был человеком бесхитростным, а жена его – тихоней. Но каким-то образом этим двум людям удалось произвести на свет шестерых редкостных смутьянов и дебоширов. Одного их сынка прозвали «ричмондским кошмаром»; двое других погибли в пьяных драках. Младшенький, Генри, был, пожалуй, хуже их всех, хотя, наверное, по-другому и быть не могло – как бы он иначе выжил, с такими-то братьями? Он был упрямой и живучей бестией, тщедушным, но вертким плутом, сносил побои братьев без единого писка и ничего не боялся. Другие знали об этом и частенько испытывали его, подначивая на всякие рискованные дела. Даже в одиночку Генри был падок на опасные эксперименты: жег костры, где не положено, бегал по крышам и подсматривал за замужними дамами и был грозой всех окрестных ребятишек младше себя. Никто б не удивился, узнав, что он шмякнулся с колокольни или утонул в Темзе, но по чистой случайности этого не произошло.

Однако, в отличие от братьев, было у Генри одно качество, делавшее его не совсем безнадёжным. Точнее, два: во-первых, он был умен и, во-вторых, интересовался деревьями. Было бы преувеличением сказать, что деревья порождали у него глубокое почтение, как у отца, но интерес они вызывали, поскольку в его убогом мире уход за ними был одной из немногих вещей, которой он мог научиться, а по опыту Генри знал, что люди, которые чему-то в жизни научились, имеют преимущество над остальными. И если человек не хочет в скором будущем отдать концы (а Генри не хотел) и намеревается в итоге достигнуть процветания (а Генри намеревался), то нужно учиться всему, чему только можно. Латынь, чистописание, стрельба из лука, верховая езда, танцы – все это было ему недоступно. Но у него были деревья и был отец, Яблочный Маг, терпеливо взявшийся учить сына.

Так Генри узнал все об арсенале прививальщика – глине, воске, садовых ножах; о тонкостях трубкования, прививания глазком и в расщеп, высаживания и обрезки умелой рукой. Он выучился пересаживать деревья по весне, когда земля плотная и пропитана влагой, и по осени, когда земля рыхлая и сухая. Теперь он знал, как подвязывать и укрывать абрикосы, чтобы защитить их от ветра, как растить цитрусовые в оранжерее и окуривать крыжовник, чтобы избавиться от ложномучнистой росы, когда удалять больные ветки у инжира, а когда оставить как есть. А еще как ободрать ветхую кору со старого дерева до самой земли без излишней сентиментальности и пустых сожалений, чтобы дерево ожило и плодоносило еще с десятков лет.

Генри многому научился у отца, хоть и стыдился старика: тот казался ему слабым. Допустим, мистер Уиттакер и впрямь Яблочный Маг, так почему уважение короля не сделало его богатым? Люди куда глупее и те сумели разбогатеть, и таких было немало. Как вышло, что Уиттакеры по-прежнему жили вместе со свиньями, хотя совсем рядом раскинулись великолепные зеленые дворцовые лужайки и на улице Фрейлин выстроились роскошные дома, где служанки королевы спали на французских шелковых простынях? Однажды Генри взобрался на самую верхушку аккуратно подстриженной живой изгороди и увидел в саду даму в платье цвета слоновой кости, которая упражнялась в выездке на снежно-белой лошади, а слуга тем временем играл на скрипке для ее увеселения. Вот какая жизнь текла совсем рядом, в его родном Ричмонде, а у Уиттакеров тем временем не было даже половичка.

Но отец Генри никогда не стремился к обладанию прекрасными вещами. Тридцать лет он получал одно и то же пустяковое жалованье и ни разу не потребовал повышения, ни разу не пожаловался, что приходится работать на улице в самую пренеприятную погоду, да так много, что здоровье его было уже давно подорвано. Всю жизнь мистер Уиттакер осторожничал, особенно с теми, кто стоял выше его, а он любого считал выше себя. Он взял за правило никогда никому не досаждать и не извлекать выгоду, даже если такая возможность была под носом – бери и урывай, сколько влезет. Он и сына учил: «Генри, не зарывайся. Больше одного раза овцу не убьешь. Но ее можно стричь каждый год – так и поступают осмотрительные люди».

С таким безвольным тюфяком-отцом Генри Уиттакеру в жизни оставалось надеяться лишь на то, что удастся урвать своими руками. «Человек должен иметь деньги, – стал твердить себе мальчик, когда ему было всего тринадцать. – Он должен убивать по овце в день».

Но где найти столько овец?

Тогда-то Генри Уиттакер и начал воровать.

* * *

В семидесятые годы восемнадцатого века сады Кью превратились в ботанический Ноев ковчег. Их коллекция растений насчитывала тысячи видов, и каждую неделю поступали новые экземпляры – гортензии с Дальнего Востока, магнолии из Китая, папоротники с островов Вест-Индии. Кроме того, в Кью появился новый, весьма амбициозный управляющий, сэр Джозеф Бэнкс. Он только что вернулся из триумфальной кругосветной экспедиции на борту судна «Индевор» под командованием капитана Кука, где служил главным ботаником. Бэнкс работал без жалованья (потому что его интересовала лишь слава Британской империи, хотя кое-кто считал, что он не прочь был прославиться и сам, ну, может, самую малость) и отличался неукротимой страстью к коллекционированию растений, а все ради того, чтобы создать поистине великий национальный ботанический сад.

О, сэр Джозеф Бэнкс! Этот красавец, этот беспринципный, амбициозный, азартный авантюрист! Он был полной противоположностью отца Генри Уиттакера. Полученное в двадцать три года громадное наследство – шесть тысяч фунтов ренты в год – сделало его одним из богатейших людей в Англии. Он также был одним из красивейших людей в стране, хотя некоторые готовы были с этим поспорить. Бэнкс мог бы провести жизнь в праздной роскоши, но решил стать отважным натуралистом-первооткрывателем, причем ради этого не поступился и каплей привычного шика и великолепия. Львиная доля стоимости первой экспедиции капитана Кука была оплачена из кармана Бэнкса; взамен капитан, несмотря на нехватку места, позволил ему взять на корабль двух чернокожих слуг и двух белых, второго ботаника, научного секретаря, двух художников, одного подмастерье и пару итальянских борзых. Приключение Бэнкса длилось два года, и он провел это время, соблазняя таитянских принцесс, танцуя голышом на пляжах с дикарями и глядя, как юным туземкам в лунном свете татуируют ягодичцы. Домой он привез таитянина по имени Ормаи, который стал его комнатной зверушкой, а также около четырех тысяч черенков. И почти о половине этих видов растений науке не было известно ничего. Сэр Джозеф Бэнкс был самым знаменитым и импозантным мужчиной в Англии, и Генри им восхищался.

Но это не помешало ему у него красть.

Все дело в том, что у Генри была такая возможность, и грех было ее упускать. В научных кругах Бэнкс прославился не только как великий коллекционер растений, но и как большой скупердяй. В ту культурную эпоху джентльмены, чьей профессией была ботаника, обычно безвозмездно делились своими находками друг с другом – но не Бэнкс. В Кью приезжали профессора, садовники и коллекционеры со всего мира, и все они, естественно, надеялись разжиться семенами, черенками и образцами из обширного гербария Бэнкса, однако сэр Джозеф всем отвечал отказом.

Юный Генри восхищался неуступчивостью Бэнкса (будь в его распоряжении такие сокровища, он тоже не подумал бы ими делиться), но вскоре в недовольных лицах отвергнутых иностранных гостей узрел свой шанс. Он подждал их за оградой ботанического сада и ловил в тот момент, когда они выходили из Кью; бывало, при этом они проклинали сэра Джозефа на французском, немецком, голландском или итальянском. Генри приближался к ним, спрашивал, какие образцы джентльменам хотелось бы получить, и обещал раздобыть их к концу недели. При себе у него всегда были записная книжка и плотницкий карандаш; если джентль-

мены не знали английского, он просил их зарисовать нужные экземпляры. Все они были превосходными художниками-натуралистами, так что описать необходимое не составляло труда. А когда спускалась ночь, Генри проникал в оранжереи, проشمгнув мимо служителей, чьей задачей было поддерживать огонь в больших жаровнях холодными вечерами, и крал образцы на продажу.

Его заказчики едва ли нашли бы кого-нибудь, кто бы справился с этой работой лучше. Генри мог отличить один вид растения от другого и сохранить черенки, не загубив их; он прилежался в Кью, так что появление его там не вызывало подозрений, а еще поднатерел заметить следы. Да и сон был ему как будто не нужен. Весь день он помогал отцу в плодовом саду, а всю ночь промышлял воровством. Он крал редкие виды растений, ценные экземпляры: венерины башмачки, тропические орхидеи и плетоядные чудо-цветы из Нового Света. А иллюстрации растений, сделанные именитыми ботаниками, хранил и изучал до тех пор, пока не смог отличать друг от друга тычинки и лепестки всех цветов в мире.

Как все хорошие воры, Генри всегда заботился о своей безопасности. Никому не доверял свой секрет, а выручку закапывал в тайниках по всему саду – их у него было несколько. Он не потратил ни фартинга, оставив серебро лежать в земле до поры по времени, как хорошие корневища. Ему хотелось накопить побольше, чтобы потом внезапно оказаться обладателем крупного состояния и заслужить право стать обеспеченным человеком.

Через год у него появилось несколько постоянных заказчиков. От одного из них – это был старый селекционер орхидей из Парижского ботанического сада – мальчик впервые в жизни услышал слова одобрения. «А ты способный маленький пройдоха!» – сказал тот. Через два у Генри образовалось процветающее торговое предприятие: он продавал растения не только серьезным ботаникам, но и многим обеспеченным лондонским аристократам, мечтавшим заполучить экзотические виды для своих коллекций. Через три он занялся незаконной переправкой образцов во Францию и Италию; он искусно обкладывал черенки мхом и заливал воском, чтобы те не погибли в дороге. А по прошествии этих трех лет Генри Уиттакера поймали, и сделал это его отец.

Однажды ночью мистер Уиттакер, который обычно спал крепко, заметил, что его сын после полуночи вышел из дома. Тут в сердце его закрались инстинктивные отцовские подозрения, и он проследовал за мальчишкой до самой оранжереи, где и увидел, как тот отбирает, крадет и бережно упаковывает образцы. Чрезмерная осторожность выдала Генри с головой.

Отец Генри был не из тех, кто бьет своих сыновей, даже если они это заслужили (а такое случалось нередко), и в ту ночь он Генри бить не стал. Он также не обвинил его в глаза. Генри даже не понял, что его застукали. Но мистер Уиттакер сделал кое-что похуже. На следующее утро первым делом он попросил сэра Джозефа Бэнкса о личной аудиенции. Скромные малые вроде Уиттакера нечасто удостоивались права просить о встрече с человеком столь высокородным, как Бэнкс, однако отец Генри, прослужив почти тридцать лет верой и правдой, пользовался уважением в Кью, и потому ему позволили нарушить покой сэра Джозефа, тем более что прежде он никогда об этом не просил. Пусть он был старым человеком, да и небогатым, но он спас любимое дерево короля, и его звали Яблочным Магом – этот титул и послужил ему пропуском в кабинет Бэнкса.

Мистер Уиттакер явился к Бэнксу чуть ли не на коленях, низко склонив голову, с видом святого раскаяния. Он рассказал постыдную историю о преступлении сына и поделился своими подозрениями о том, что Генри, возможно, ворует в Кью уже не первый год. А в качестве наказания предложил подать в отставку, лишь бы парня не арестовали и не причинили ему вреда. Яблочный Маг пообещал увезти семью из Ричмонда, чтобы имя Уиттакеров не позорило больше ни Кью, ни сэра Бэнкса.

Бэнкс поразился небывалой честности садовника, на его предложение подать в отставку ответил отказом и велел послать за Генри. Этот поступок также был не из тех, что случа-

ются каждый день. Сэр Джозеф Бэнкс крайне редко принимал у себя в кабинете неграмотных садовников, а уж шестнадцатилетних отпрысков этих неграмотных садовников и подавно. Возможно, ему стоило, недолго думая, вызвать кого следует, чтобы мальчика арестовали. Однако воров в те времена наказывали жестоко, и детишки куда младше Генри шли на виселицу за дела куда менее серьезные. Хотя коллекции Бэнкса был нанесен большой урон, он сочувствовал отцу воришки и решил сам разобраться, в чем проблема, прежде чем посылать за констеблем.

Проблемой, взглянувшей на сэра Джозефа с порога его кабинета, оказался долговязый рыжий паренек с плотно сжатыми губами, водянистыми глазами, широкими плечами и впалой грудью, чья бледная кожа уже успела огрубеть от постоянного столкновения с ветром, солнцем и дождем. Мальчишка явно недоедал, но роста был высокого, с большими руками; Бэнкс видел, что из него однажды может вырасти крупный детина, если кормить его получше.

Генри не знал, зачем его вызвали в контору Бэнкса (его отыскал старый садовник, немец, и велел явиться к управляющему – мол, тот хочет видеть его один на один), но мозгов у него всегда хватало, поэтому он заподозрил худшее и был весьма напуган. Лишь благодаря своему ослиному упрямству он сумел войти в кабинет Бэнкса, пересилив дрожь.

А кабинет это был, прямо скажем, великолепный! И как роскошно был одет сам Джозеф Бэнкс, представший перед Генри в великолепном парике и костюме из блестящего черного бархата, с начищенными пряжками на туфлях и в белых чулках. Еще с порога Генри приметил элегантный письменный стол из красного дерева, бросил жадный взгляд на драгоценные коллекционные коробочки, стоявшие на каждой полке, и восхищенно уставился на красивый портрет капитана Кука. Чтоб я сдох, подумал Генри, да одна только рама от этого портрета потянет фунтов на девяносто!

В отличие от своего отца, Генри Уиттакер не стал кланяться Бэнксу; он встал перед сэром Джозефом, выпрямившись во весь рост, и посмотрел ему в глаза. Бэнкс, сидевший за столом, позволил мальчишке постоять молча, возможно надеясь услышать признание или мольбу о милосердии. Но Генри ни в чем не признавался и ни о чем не молил, он даже головы не повесил. Поистине, сэр Джозеф Бэнкс совсем не знал Генри Уиттакера, если думал, что тот окажется дураком и заговорит первым в столь опасных обстоятельствах.

Поэтому, после того как они долго смотрели друг на друга молча, Бэнкс наконец рявкнул: – Скажи на милость, что-то может помешать мне полюбоваться, как тебя вздернут в Тайберне¹?

Так вот значит что, подумал Генри. Попался.

Тем не менее паренек тут же стал искать выход из положения. Ему нужен был план, а времени на раздумья было в обрез. Но не зря же его всю жизнь колошматили старшие братья – правилам боя он научился. Когда противник крупнее и сильнее тебя и ударяет первым, есть лишь одна возможность ответить, прежде чем тебя превратят в кисель, – выступить неожиданно.

– Я способный маленький пройдоха, – выпалил Генри.

Бэнкс, который любил курьезы, разразился удивленным смехом:

– Признаюсь, мальчик, мне не совсем ясно, что за польза в этом для меня. Пока ты лишь разграбил мои сокровища, накопленные с большим трудом.

Это был не вопрос, но Генри на него ответил.

– Ну да, я слегка прополол ваши грядки, – сказал он.

– Даже не отрицаешь?

– Сколько бы я ни распинался, это вряд ли что-то изменит.

¹ Место публичной казни в Лондоне; использовалось до 1783 года. – *Здесь и далее примечания переводчика.*

И снова Бэнкс рассмеялся. Возможно, ему показалось, что Генри нарочно храбрится, но храбрость Генри была не показной, а настоящей. Как и страх. И полное отсутствие раскаяния. Всю свою жизнь Генри Уиттакер считал раскаяние слабостью.

Бэнкс сменил тактику:

– Должен сказать, молодой человек, вы поставили своего отца в весьма затруднительное положение.

– А он меня, сэра, – незамедлительно ответил Генри, снова заставив Бэнкса изумленно рассмеяться.

– Неужели? И что же плохого сделал вам этот достойнейший человек?

– Родил меня в нищете, сэра, – ответил Генри. И тут вдруг все понял и добавил: – Это же он сделал, да? Он меня вам сдал?

– Он, он. Твой отец – честный человек.

– Только мне от этой честности ни жарко ни холодно, – пожал плечами Генри.

Бэнкс задумался и кивнул, признавая его правоту. Затем спросил:

– Кому ты сбывал мои растения?

Генри стал загибать пальцы:

– Манчини, Фладу, Уиллинку, Лефавуру, Майлзу, Сатеру, Эвашевски, Фуэрелю, лорду Лессигу, лорду Гарнеру...

Бэнкс остановил его, махнув рукой. И уставился на паренька с неприкрытым изумлением. Как ни странно, будь этот список скромнее, он рассердился бы больше. Но Генри назвал имена величайших ботаников той эпохи. Кое-кого из них Бэнкс даже считал друзьями. Как мальчишка их отыскал? Ведь некоторые из этих людей уже много лет не были в Англии. Да у мальчика, никак, экспортное предприятие! Что за дела этот плут проворачивал у него под носом?

– А откуда ты знаешь, как обращаться с растениями? – спросил Бэнкс.

– Я это всегда умел, сэра, всю свою жизнь. Как будто родился, уже все умеючи.

– И все твои заказчики... они тебе платили?

– Иначе не получили бы свои цветочки, – ответил Генри.

– Ты, верно, немало заработал? Накопил уже целое богатство за последние... сколько лет?

Но Генри был слишком хитер, чтобы поддаваться на эту уловку.

– Что же ты сделал с деньгами, мальчик? – не унимался Бэнкс. – На одежду ты их явно не потратил. Твой заработок по праву принадлежит Кью. Где же он?

– Его нет, сэра.

– Как это нет?

– Кости, сэра. Видите ли, я игрок, такая у меня слабость.

Может, мальчишка врет, а может, и нет, подумал Бэнкс. Но наглости у него больше, чем у любого двуногого зверя, который когда-либо попадался ему на пути. Бэнкс был заинтригован. Ведь не стоит забывать, что это был человек, который держал дикаря в качестве комнатной зверушки, а по правде говоря, и сам славился тем, что наполовину дикарь. Его положение в жизни вынуждало его притворяться, что благородные манеры ему по душе, но втайне он всегда считал, что немного сумасбродства не повредит. А этот Генри Уиттакер – ну и птица! С каждой минутой Бэнксу все меньше хотелось передавать это любопытное существо в руки констеблей.

Генри, который все замечал, увидел, что на лице Бэнкса отражается внутренняя борьба – сперва оно сочувственно смягчилось, затем расцвело любопытством, и, наконец, Генри углядел в нем некий интерес, таивший в себе возможность спасения. Инстинкт самосохранения опьянил его, и он раз ухватился за эту соломинку, таящую надежду.

– Не посылайте меня на виселицу, сэра, – проговорил он. – Вы об этом пожалеете.

– А как прикажешь с тобой поступить?

– Найдите мне работу.

– И почему я должен это сделать?

– Потому что лучше меня никого нет.

Глава вторая

Так Генри не попал на виселицу в Тайберне, а его отец не потерял место в Кью. Уиттакеров простили, что казалось чудом, а Генри всего лишь отправили подальше. А отправили его в океанское плавание, и сделал это сэр Джозеф Бэнкс, чтобы узнать, на что парнишка будет годен, повидав мир.

На дворе был 1776 год, и капитан Кук как раз собирался в свою третью кругосветную экспедицию. Но Бэнкс с ним не плыл. Почему? Да потому, что его не позвали. Не взял его Кук и во второе плавание, чем немало досадил управляющему Кью. Кук невзлюбил Бэнкса из-за его расточительности и привычки всегда быть в центре внимания и, к стыду последнего, нашел ему замену. На этот раз в экспедицию с Куком должен был отправиться ботаник более скромный, тот, кого проще было контролировать, – человек по имени мистер Дэвид Нельсон, застенчивый, но искусный садовник из Кью. Но Бэнкс все же желал каким-то образом приложить руку и к этой экспедиции тоже, а еще ему было очень нужно знать, какие именно растения собирает Нельсон и как. Ему противна была сама мысль о том, что важная научная работа ведется за его спиной. Вот он и договорился, что Генри отправится в плавание в качестве одного из помощников Нельсона, а сам наказал ему смотреть в оба, учиться всему, все запоминать и впоследствии доложить обо всем ему. Можно ли было найти лучшее занятие для Генри Уиттакера, чем сделать из него осведомителя?

Кроме того, сослав Генри в океанское плавание, Бэнкс гарантировал, что тот не появится в садах Кью еще пару-тройку лет, а за это время уж можно будет понять, что за человек из него выйдет. За три года на корабле истинная натура паренька наверняка себя проявит. И если все кончится тем, что его вздернут на нок-рее за воровство, убийство или мятеж... что ж, это будут уже проблемы Кука, а не его, Бэнкса. Если же, наоборот, малец докажет, что на что-то годен, Бэнкс сможет использовать его в будущем – после того, как кругосветка научит его уму-разуму.

Бэнкс отрекомендовал Генри мистеру Нельсону такими словами:

– Нельсон, хочу представить вам вашего нового помощника, мистера Генри Уиттакера из ричмондских Уиттакеров. Он способный маленький пройдоха, а когда вы увидите, как он работает с растениями, то убедитесь, что парнишка как будто родился, уже все умеючи.

Чуть позже, при личной аудиенции, Бэнкс посоветовал Генри кое-что напоследок, перед тем как отправить его в плавание:

– Чтобы сохранить здоровье на борту, нужно каждый день активно упражняться. Слушайся мистера Нельсона – он зануда, но знает о растениях столько, сколько тебе никогда не узнать. Ты окажешься во власти моряков рангом старше, но никогда не должен жаловаться на них – себе дороже. Держись подальше от шлюх, если не хочешь подхватить французскую болезнь. В экспедицию отправятся два корабля, но ты поплывешь на «Резолюшн» с самим Куком. Не путайся у него под ногами. Никогда не обращай к нему первым. А если все же обратишься – чего никогда делать нельзя, – не говори с ним так, как иногда разговариваешь со мной. В отличие от меня, его твой тон не позабавит. Кук не похож на меня. Он типичный офицер британского флота, неукоснительно соблюдающий протокол, так что ты ему лучше не попадайся. Пусть он тебя не замечает – это для твоего же блага. И последнее... должен предупредить, что на борту «Резолюшн», как и на всех кораблях Его Величества, ты будешь жить в странной компании, наполовину состоящей из джентльменов, а наполовину – из отбросов. Будь мудр, Генри. Равняйся на джентльменов.

По лицу Генри, которому он намеренно научился не придавать никакого выражения, было невозможно прочесть его мысли, поэтому Бэнкс не заметил, как сильно подействовала на него последняя фраза. Ведь он только что высказал совершенно невероятное – для Генри! – предположение: что, возможно, однажды тот *станет джентльменом*. Это было даже не пред-

положение, а приказ – приказ, который Генри был только рад выполнить: *отправляйся в мир, Генри, и научись быть джентльменом*. За годы тягот и одиночества, проведенные Генри в плавании, эта случайная фраза, которую обронил Бэнкс, возможно, приобретет для него еще более важный смысл. Быть может, он только об этом и сможет думать. Возможно, со временем Генри Уиттакер – этот амбициозный, целеустремленный мальчик, которому не давало покоя инстинктивное желание двигаться вперед, – начнет воспринимать эти слова как *обещание*.

* * *

Генри покинул берега Англии в августе 1776 года. У третьей экспедиции Кука были две официальные цели. В первую очередь корабли должны были доплыть до Таити, чтобы вернуть на родину любимца сэра Джозефа Бэнкса, туземца по имени Ормаи. Тот устал от жизни при британском дворе и мечтал о возвращении домой. Он стал угрюмым, капризным, растолстел и надоел Бэнксу. После Таити Куку предстояло отправиться на север, вверх, проплыть вдоль Тихоокеанских берегов двух американских континентов и отыскать Северо-Западный проход².

Тяготы Генри начались сразу после отплытия. Его разместили в трюме, среди бочек и клеток для кур. Вокруг недовольно кудахтали домашняя птица и блеяли козы, но Генри не жаловался. Здоровые матросы с руками, покрытыми соленой коркой, и кулаками, тяжелыми, как наковальни, глумились над ним, унижали и били. Бывалые моряки презирали его, сухопутную крысу, ничего не знавшую о тяготах океанских плаваний. В экспедициях люди всегда умирают, твердили они, и он, крыса, сдохнет первым.

Они его недооценили.

Генри был младше всех на корабле, но, как выяснилось, отнюдь не слабее всех. Жизнь в плавании оказалась ненамного сложнее той, к которой он и так привык. Он учился всему, чему должен был научиться: высушивать растения мистера Нельсона и готовить их для гербария, рисовать под открытым небом, отбиваясь от мух, которые садились в краски, когда он их смешивал, – и быть полезным на корабле. Его заставляли драить уксусом каждую трещинку на судне; он чистил от паразитов постели старших по рангу. Помогал мяснику солить мясо и закатывать солонину в бочки и научился управлять аппаратом для очистки воды. Наловчился глотать рвоту, лишь бы не доставить удовольствие другим, показав, что его скрутила морская болезнь. В шторм ни человек, ни сам черт не смог бы догадаться, что ему страшно. Он ел акул и полуразложившуюся рыбу в акульих кишках. Видел, как старый моряк – опытный моряк – упал за борт и утонул, как несколько человек умерли от инфекций, – но сам не умер.

Он высаживался на берег на Мадейре, Тенерифе и в Столовой бухте³. На мысе Доброй Надежды ему впервые встретились голландцы из Вест-Индской компании, поразившие его своей степенностью, компетентностью и богатством. Он наблюдал за тем, как матросы спускают все заработанное за карточным столом, и видел, что люди берут займы у голландцев, которые в карты не играли. Генри тоже не играл. Он смотрел, как его товарища-матроса – впоследствии тот стал фальшивомонетчиком – поймали на мухлеже и выпороли до обморока по приказу самого Кука. Сам Генри не оступился ни разу. По ночам, когда они огибали мыс среди льда и ветра, он дрожал под одним тонким одеялом, и зубы стучали так сильно, что один сломался, но Генри не жаловался. Рождество он встретил в колючий холод на острове, где водились одни морские львы и пингвины.

² Водный путь, соединяющий Тихий и Атлантический океаны и идущий вдоль берега Северной Америки через Северный Ледовитый океан.

³ Бухта в Атлантическом океане, у юго-западных берегов Африки. Названа так из-за Столовой горы, расположенной на ее южном берегу.

В Тасмании он сошел на берег и встретил голых туземцев – британцы называли их индейцами. Он видел, как капитан Кук вручил им сувенирные медали с вытесненным изображением Георга III и датой экспедиции, чтобы было чем помянуть историческую встречу. Островитяне тут же расплющили сувениры, сделав из них рыболовные крючки и наконечники для копий. Генри лишился еще одного зуба. Он наблюдал за тем, как британские матросы ни во что не ставят дикарей, не верят, что их жизнь имеет ценность, а Кук тщетно пытался внушить им обратное. Был свидетелем того, как моряки насилюют женщин, которых не смогли уговорить по-хорошему, умасливают тех, кто им не по карману, или попросту покупают дочерей у отцов, меняя железо на живую плоть. Сам Генри к женщинам близко не подходил.

Он проводил долгие дни на борту корабля, помогая мистеру Нельсону зарисовывать, описывать, клеить и классифицировать гербарии. Мистер Нельсон не вызывал у него теплых чувств – ему просто хотелось научиться всему, что старый ботаник знал. На глазах Генри скот на борту «Резолюшн» чах от недостатка корма и воды; от животных оставались одни скелеты, обтянутые кожей и распространявшие вокруг себя дикую вонь, а в конце их убивали, хотя они умерли бы все равно. Сам Генри ел дикий сельдерей и солонину.

Он сошел на берег в Новой Зеландии, которая показалась ему вылитой Англией, вот только в Англии не было татуированных дикарок, которых можно было купить за пару пригоршней гвоздей. Генри женщин не покупал. Но он видел, как матросы с его корабля купили в Новой Зеландии двух трудолюбивых и веселых мальчиков десяти и пятнадцати лет, братьев, которых продал собственный отец. Ребята присоединились к экспедиции в качестве помощников. Они сами захотели плыть. Но Генри знал, что мальчишки не понимают, что это значит – оставить свой народ. Их звали Тибура и Гова. Они пытались подружиться с Генри – на корабле он был им ближе всех по возрасту, – но он их игнорировал. Они были рабами, а значит, были обречены на муки и смерть. Он не хотел связываться с людьми, которые обречены. Он видел, как новозеландские парнишки едят сырых собак и тоскуют по дому. Он знал, что надеяться им не на что.

Потом он приплыл на Таити, в покрытый зеленью благоухающий край. Капитана Кука здесь приветствовали как великого короля и дорогого друга. «Резолюшн» роем окружили индейцы; они выплыли навстречу кораблю и звали Кука по имени. Генри видел, как Ормаи – туземца, уплывшего с Бэнксом в Англию и знавшего короля Георга III, – приветствовали в родном краю, сначала как героя, но постепенно его стали презирать как чужака, и с каждым днем отчуждение росло. Генри понял, что теперь у Ормаи нет дома. Он смотрел, как туземцы танцуют под английские рожки и волынки, а мистер Нельсон, его степенный наставник по ботанике, однажды ночью напился, разделся до пояса и пустился в пляс под таитянские барабаны. Но сам Генри не танцевал. Он видел, как капитан Кук приказал отрезать таитянину оба уха за кражу из корабельной кузницы, поручив эту работу своему цирюльнику. А один из великих таитянских вождей попытался украсть у англичан кошку – и получил за это кнутом по лицу.

Он смотрел, как капитан Кук пускает фейерверки над заливом Матаваи, чтобы удивить туземцев, но те лишь испугались. А в тихую ночь видел миллионы небесных ламп в небе над Таити. Он пил кокосовое молоко. Ел собак и крыс. Видел каменные храмы, заваленные человеческими черепами. Карабкался по опасным выступам скалистых утесов среди водопадов и собирал папоротники для мистера Нельсона – сам мистер Нельсон в скалы не лазил. Видел, какого труда стоило капитану Куку поддерживать порядок и дисциплину среди подчиненных, погрязших в распутстве. Все матросы и офицеры влюбились в таитянок; поговаривали, что каждая из них владеет особой тайной любовной техникой. Мужчины не хотели уезжать с острова. Генри держался от женщин подальше. Они были красивы, их груди – соблазнительны, а волосы – блестящи, они потрясающе пахли и населяли его сны, но большинство уже успели подцепить французскую болезнь. Он выстоял против сотни ароматных искушений. За это над

ним насмехались. Но он все равно выстоял. У него были более серьезные планы. Он посвятил себя ботанике. Собирал гардении, орхидеи, жасмин и плоды хлебного дерева.

Они поплыли дальше. На Островах Дружбы⁴ по приказу капитана Кука туземцу отрубили руку ниже локтя за то, что он украл топор с борта «Резолюшн». На этих же островах Генри и мистер Нельсон отправились за ботаническими образцами, и на них напали местные, сняли с них всю одежду и, что было в сто раз хуже, отняли черенки и тетради с записями. Покрытые солнечными ожогами, голые, трясущиеся, они вернулись на корабль, но даже тогда Генри не выказал недовольства.

Он внимательно наблюдал за благородными джентльменами на борту, запоминая, как те себя ведут. Он имитировал их речь. Тренировался произносить слова, как делали они. Оттачивал свои манеры. Он слышал, как один из офицеров сказал другому: «Хотя аристократия всегда, по сути, являлась искусственным образованием, именно она выступает сдерживающим фактором для необразованного, недумającego сброда». Генри замечал, что офицеры всегда относились с уважением к туземцам, бывшим, по их мнению, людьми высокого происхождения (или людьми высокого происхождения, как их себе представляли англичане). На каждом острове, где они побывали, аристократы с «Резолюшн» выбирали одного темнокожего, у которого были более роскошный головной убор, или больше татуировок, или копье длиннее, чем у других, или больше жен, или паланкин, которые несли прислужники, а в отсутствие какого-либо из этих признаков достатка – того, кто был выше ростом. И к этому человеку англичане относились с почтением. Именно с ним велись все переговоры, ему приносили дары, а иногда и называли его королем. Генри понял, что, куда бы ни направился английский джентльмен в этом мире, он везде стремится *найти короля*.

Генри охотился на черепаха и ел дельфинов. Его покусали черные муравьи. Он плыл и плыл дальше. Он видел индейцев крошечного роста с гигантскими раковинами в ушах. Однажды во время шторма в тропиках небо окрасилось в зловещий зеленый цвет – и это был единственный раз, когда он заметил страх на лицах старших матросов. Он видел пылающие горы, которые назывались вулканами. Корабль плыл дальше на север. Снова стало холодно. Генри опять стал есть крыс. Экспедиция высадилась на западном берегу североамериканского континента. Тут Генри ел лесного и северного оленей. Видел людей, носивших меха и предлагавших на обмен бобровые шкуры. Видел, как нога у одного матроса запуталась в якорной цепи и его потянуло в воду, где он и нашел свою смерть.

Корабль поплыл дальше – далеко на север. Там Генри видел дома из китовых ребер. Купил волчью шкуру. Он собирал примулы, фиалки, смородину и можжевельник для мистера Нельсона. Видел индейцев, которые жили в ямах, вырытых в земле, и прятали от англичан своих женщин. Ел солонину, в которой завелись черви. Потерял еще один зуб. Когда они доплыли до Берингова пролива, слышал, как в ночной Арктике воют дикие звери. Вся его сухая одежда промокла, а потом заледенела. У него отросла борода, и, хоть она была в две волосинки, на ней все равно росли сосульки. Ужин примерзал к тарелке, не успевал он его доест. Но Генри не жаловался. Он не хотел, чтобы сэру Джозефу Бэнксу доложили, что он пожаловался хоть раз. Волчью шкуру он выменял на снегоступы. Он видел, как корабельный хирург, мистер Андерсон, умер и был похоронен в море, найдя последнее пристанище в худшей из возможных могил – ледяном океане вечной ночи. Видел, как матросы палят из пушки по морским львам забавы ради, пока на берегу не осталось ни одного живого зверя.

Он видел землю, которую русские называли *Аляской*. Помогал варить пиво из сосны – матросы плевались, попробовав его, но больше пить было нечего. Видел индейцев, живущих в норах ничуть не удобнее берлог тех зверей, на которых они охотились и которых ели; встретил русских, отрезанных от мира на китобойной станции. Слышал, как капитан Кук говорил о стар-

⁴ Королевство Тонга.

шем русском офицере (это был высокий, красивый блондин): «Несомненно, он джентльмен, из хорошей семьи». Видимо, везде, даже в этой унылой тундре, важно было оставаться *джентльменом из хорошей семьи*. В августе капитан Кук прекратил поиски. Он так и не нашел Северо-Западный проход, а «Резолюшн» застрял во льдах, высоченных, как соборы. Тогда капитан сменил курс, и корабль поплыл на юг.

Они шли почти без остановок, пока не достигли берегов Гавайев. Но лучше бы они этого не делали. Лучше бы остались во льдах и умерли с голоду. Великих гавайских вождей рассердил их приезд, туземцы оказались агрессивными и воровали все, что попадалось под руку. Гавайцы были не такими, как таитяне, не милыми друзьями, кроме того, их было несколько тысяч. Но Куку нужна была пресная вода, и он не мог отплыть, пока не наполнятся баки. Тем временем туземцы воровали, а англичане карали их за воровство. Началась пальба, и нескольких островитян подстрелили; вожди пришли в бешенство, последовал обмен угрозами. Кое-кто поговаривал, что капитан Кук сорвался, стал более жестоким и при каждом случае воровства демонстрировал все более бурные вспышки гнева, все более яростное негодование. Но кражи не прекращались. Кук не был намерен терпеть. А индейцы выковыривали гвозди прямо из корпуса корабля, угоняли шляпки, крали оружие. Дело снова закончилось стрельбой и убийством туземцев. Неделю Генри не спал, постоянно был начеку. Никто не спал.

А потом Кук сошел на берег, намереваясь встретиться с великими вождями и умиротворить их гнев, но вместо этого ему навстречу вышли сотни разъяренных туземцев. За считанные секунды толпа стала неуправляемой. Генри Уиттакер видел, как убили капитана Кука: грудь его пронзило копье островитянина, голову разбили дубиной, а кровь смешалась с прибоем. Всего мгновение, и великого мореплвателя не стало. Его труп утащили индейцы. Той же ночью на борт «Резолюшн» забросили кусок его ноги – в знак презрения.

В отместку англичане сожгли весь поселок. Генри видел и это. Он видел, как матросы убивают мужчин, женщин и детей на острове, не щадя почти никого. Двум индейцам отрубили головы и насадили на пики. Будет хуже, сказали матросы, если тело капитана Кука не вернут, чтобы похоронить, как полагается. Тело привезли на следующий день – без позвоночника и с отрубленными ниже щиколоток ногами; эти части так и не нашли. Генри смотрел, как останки его командира хоронят в море. Капитан Кук никогда не обменялся с Генри Уиттакером и словом, а Генри, следуя совету Бэнкса, не попадался ему на глаза. Но так уж вышло, что теперь капитан Кук был мертв, а Генри Уиттакер – нет.

Он думал, что после этой беды они вернуться в Англию, но они не вернулись. Место капитана занял человек по имени мистер Кларк. Их миссия по-прежнему была не выполнена, и они должны были найти Северо-Западный проход. Когда вернулось лето, они опять пошли на север, в те страшные льды. Генри покрылся коркой из пемзы и вулканического пепла. Свежие овощи и фрукты давно кончились, и пили все солоноватую воду. За кораблем увязались акулы, пожирая жижу из отхожих мест. Генри и мистер Нельсон нашли одиннадцать новых видов полярной утки и девять из них попробовали на вкус. Генри видел, как мимо борта проплывает полярный медведь, лениво и зловеще перебирая лапами. Видел индейцев, которые привязывались к маленьким, высланным мехом каное и скользили среди льдин, став с лодкой одним целым, одним поворотливым зверьком. Видел, как они ездят по льду на собачьих упряжках. Видел, как сменивший капитана Кука капитан Кларк умер в возрасте тридцати восьми лет и был похоронен в море.

Теперь он пережил уже двух капитанов английского морского судна.

И снова моряки бросили искать Северо-Западный проход и поплыли в Макао. Там Генри увидел флотилии китайских джонок и опять встретил голландцев – вездесущих голландцев из Вест-Индской компании в простом платье черного цвета и скромных деревянных башмаках. Генри казалось, что в любой точке земного шара найдется человек, занимавший деньги у голландцев. В Китае до него дошли вести о войне с Францией и революции в Америке. Раньше

он об Америке и не слыхал. В Маниле он видел испанский галеон – ходили слухи, что тот нагружен серебром на два миллиона фунтов. Он обменял снегоступы на испанский военный дублет. Заболел дизентерией, как и все на борту, но не умер. Сошел на берег Суматры и Явы и снова встретил голландцев, которые все богатели. Он взял себе это на заметку.

Моряки обошли мыс Доброй Надежды в последний раз и повернули домой. Шестого октября 1780 года они причалили в Дептфорде. Генри отсутствовал четыре года три месяца и два дня. Ему исполнилось двадцать лет. На протяжении всего плавания он вел себя как джентльмен. И надеялся – рассчитывал! – что об этом доложат сэру Бэнксу. Еще он смотрел в оба и старательно собирал образцы растений, как ему и приказывали, и теперь был готов представить подробный отчет сэру Джозефу Бэнксу.

Он сошел на берег, получил жалованье, нашел повозку до Лондона. Город был похож на грязную дыру. 1780 год в Англии выдался страшным – беспорядки, бойня, выступления против католиков, сожжение особняка лорда Мэнфилда, оторванные рукава архиепископа Йоркского, которые швырнули ему в лицо прямо на улице, побеги из тюрем, военное положение, – но Генри об этом не знал, и ему не было ни до чего дела. Всю дорогу до дома тридцать два на Сохо-сквер, где жил Бэнкс, он прошел пешком. Генри Уиттакер постучал в дверь, назвал свое имя, встал на пороге и стал ждать свою награду.

* * *

Бэнкс отправил его в Перу.

Это и стало его наградой.

Бэнкс был довольно обескуражен, увидев Генри Уиттакера на своем пороге. За последние несколько лет он почти забыл о пареньке, хотя был достаточно умен и вежлив, чтобы не показывать виду. В голове Бэнкса хранились поразительные объемы информации, и обязанностей у него было немало. Он занимался расширением территории королевского ботанического сада и организацией и финансированием бесчисленных ботанических экспедиций по всему миру. Почти каждый корабль, прибывавший в Лондон в 1780-е, имел на борту саженцы, семена, луковицы или черенки для сэра Джозефа. Кроме того, он пользовался почтением в высшем обществе и следил за всеми новыми научными открытиями в Европе, во всех областях – от химии и астрономии до овцеводства. Проще говоря, сэр Джозеф Бэнкс был чрезвычайно занятым человеком и последние четыре года вспоминал о Генри Уиттакере отнюдь не так часто, как Генри Уиттакер о нем.

Тем не менее он впустил Генри в свой личный кабинет, через несколько минут припомнил сына садовника, предложил ему стакан портвейна, от которого Генри отказался, и попросил рассказать все об экспедиции. Бэнкс, разумеется, знал, что судно «Резолюшн» вернулось в Англию; кроме того, на протяжении всего плавания он исправно получал письма от мистера Нельсона, но Генри был первым из команды, кого Бэнкс встретил лично, прямоком с корабля, и потому он был ему рад, а припомнив, кто он такой, приготовился слушать с глубоким любопытством. Генри проговорил без остановки почти два часа, подробно описав свою работу ботаника и личные впечатления. Отметим, что он не слишком церемонился и не деликатничал, из-за чего его отчет приобрел особую ценность. И когда он закончил свой рассказ, Бэнкс прямо-таки светился оттого, что узнал так много. Ведь больше всего на свете сэр Джозеф любил, чтобы люди думали, будто он ничего не знает, в то время как он на самом деле знал бы обо всем. В данном случае официальный, отполированный в верхах отчет о плавании «Резолюшн» ему представили бы еще не скоро, а он уже был в курсе всего, что произошло за третью экспедицию Кука.

Генри говорил, а Бэнкс все больше поражался. Он понял, что последние несколько лет молодой человек занимался не столько изучением, сколько *покорением* природного мира;

теперь у него были все задатки для того, чтобы стать первоклассным ботаником. Бэнкс осознал, что должен во что бы то ни стало оставить парня при себе, пока того не переманили другие. Бэнкс и сам преуспел в переманивании чужих людей; он часто пользовался деньгами и обаянием, чтобы завлечь перспективных молодых людей на службу в Кью, заставив их бросить свои ведомства и экспедиции. Но за годы и он, разумеется, упустил нескольких таких юношей – те соблазнились теплыми и денежными местечками в богатых поместьях, где стали штатными садовниками. Бэнкс решил, что на этот раз такого не допустит.

Низкое происхождение Генри Бэнкса не волновало: он ничего не имел против людей низкого происхождения, если те знали свое дело. Натуралистов в Великобритании было как грязи, но большинство из них были болванами и дилетантами. Тем временем Бэнкс отчаянно нуждался в новых видах растений. Он бы с радостью сам ездил в экспедиции, но ему было уже под пятьдесят, и его буквально доконала подагра. Суставы распухли и болели, и большую часть дня он проводил сидя, не в силах встать из-за письменного стола. Вот ему и приходилось отправлять вместо себя сборщиков. Найти их было не так просто, как кажется. Немного было крепких молодых людей, горевших желанием за ничтожное жалованье умереть от малярии на Мадагаскаре, погибнуть в кораблекрушении на Азорских островах, подвергнуться бандитскому нападению в Индии, попасть в заложники в Гренаде или попросту сгинуть на Цейлоне.

Хитрость Бэнкса заключалась в том, чтобы заставить Генри поверить, будто он *уже* на него работает, и не дать ему времени опомниться, услышать предостережение из чьих-нибудь уст, влюбиться в какую-нибудь вульгарно одетую девицу или настроить планов на будущее. Бэнкс должен был убедить Генри, что будущее того уже расписано и принадлежит это будущее Кью. Генри Уиттакер был самоуверенным малым, но Бэнкс знал, что перевес на его стороне, ведь он был богат, могуществен и знаменит и благодаря этому казался порой чуть ли не рукой Божественного провидения. Хитрость была в том, чтобы орудовать этой рукой ничтоже сумняшеся и быстро.

– Славная работа, – сказал Бэнкс, выслушав рассказ Генри. – Ты хорошо потрудился. И теперь я отправляю тебя в Анды.

Генри на минуту оторопел: *что за Анды? Это остров такой, что ли? Или горы? Страна? Как Нидерланды?*

Но Бэнкс уже пустился в объяснения, как будто все было предрешено:

– Я отправляю ботаническую экспедицию в Перу; корабль уходит в следующую среду. Твоим начальником будет мистер Росс Нивен. Крепкий старый шотландец – по правде говоря, слишком старый, но упорнее человека ты еще не встречал. Он знает ботанику и знает Южную Америку, помани мое слово. Для такой работы шотландец лучше англичанина, Генри. Шотландцы более рассудительны и преданны и с неослабным рвением преследуют свою цель, а именно это мне нужно от моих людей за границей. Твое жалованье составит сорок фунтов в год, и хоть это не те деньги, на которые молодой человек вроде тебя сумеет разбогатеть, твоя должность почетна, и ты заслужишь благодарность Британской империи. Поскольку ты еще холост, денег тебе наверняка хватит. Чем бережливее ты будешь жить сейчас, Генри, тем богаче станешь в будущем.

Генри смотрел на него так, будто хотел задать вопрос, но Бэнкс снова его огорошил.

– Полагаю, испанского ты не знаешь? – неодобрительно спросил он.

Генри покачал головой.

Бэнкс вздохнул с преувеличенной досадой:

– Что ж, тогда, видимо, придется научиться. Несмотря на это, разрешаю тебе ехать. Нивен знает испанский, хоть и нелепо рычит на нем – одно слово, шотландец. А ты уж как-нибудь объяснишься с испанскими властями. Они очень уж берегут свою территорию и этим меня злят, но что поделать, в Перу они хозяева. Хотя будь у меня шанс, я бы вывез оттуда все джунгли. Ненавижу испанцев, Генри. Терпеть не могу мертвую руку испанского закона, насаждающую

бюрократию и коррупцию везде, где ступит нога испанца. А уж их церковь и вовсе отвратительна. Можешь себе представить, иезуиты до сих пор считают, что четыре реки Анд и есть четыре райские реки, описанные в Книге Бытия! Ты только задумайся, Генри! Принять Ориноко за Тигр!

Генри понятия не имел, о чем твердит Бэнкс, но молчал. За последние четыре года он научился подавать голос, лишь когда знал, о чем говорит. Еще он узнал, что молчание иногда внушает собеседнику уверенность в том, что перед ним человек умный. Кроме того, он все еще был в ступоре после слов сэра Бэнкса, которые эхом звенели в ушах: *чем бережливее ты будешь жить сейчас, Генри, тем богаче станешь однажды...*

Бэнкс звякнул в колокольчик, и в комнату вошел дворецкий с бледным бесстрастным лицом. Он сел за секретер и достал писчую бумагу. Без лишних промедлений Бэнкс стал диктовать:

– Сэр Джозеф Бэнкс соизволил рекомендовать подателя сего письма лордам-председателям Комиссии ботанических садов Кью Его Величества... и так далее, и тому подобное... Мне приказано довести до вашего сведения, что его светлость соизволил назначить подателя сего письма Генри Уиттакера сборщиком растительного материала для сада Его Величества, и далее в том же духе... коему в качестве премии, вознаграждения и оплаты пропитания, трудов и дорожных расходов назначено жалованье в размере сорока фунтов в год... и так далее, и тому подобное...

Потом Генри понял, что для сорока фунтов в год в этом письме было слишком уж много «и так далее», но разве было у него другое будущее?

Скрипя пером, Бэнкс поставил в конце цветистую подпись и принялся лениво помахивать бумагой в воздухе, чтобы просушить чернила. При этом он продолжал говорить:

– Твое задание, Генри, найти хинное дерево. Возможно, ты слышал о нем – его еще называют «дерево лихорадочной дрожи». Это дерево – источник иезуитской коры⁵. Узнай о нем как можно больше. Это удивительное дерево, и я хотел бы изучить его получше. Ни с кем не враждуй, Генри. Берегись воров, дураков и негодяев. Записывай все в блокнот и непременно отмечай, на какой земле находишь свои образцы – песчаной, суглинистой, болотной, – чтобы попробовать создать такие же условия здесь, в Кью. Деньгами не разбрасывайся. Мысли, как шотландец, мальчик мой! Чем меньше расточительствуешь сейчас, тем больше сумеешь потратить в будущем, став состоятельным человеком. Не поддавайся пьянству, праздности, женским чарам и меланхолии – у тебя еще будет шанс предаться всем этим удовольствиям потом, когда станешь никчемным стариком вроде меня. Будь бдителен. Лучше, если никто не будет знать, что ты ботаник. Береги свои растения от коз, собак, кошек, голубей, домашней птицы, насекомых, плесени, матросов, соленой воды...

Генри слушал его вполуха.

Он поедет в Перу.

В следующую среду.

Он – ботаник, посланный с миссией самого английского короля.

⁵ Хинин.

Глава третья

Генри прибыл в Лиму, проведя в плавании почти четыре месяца. Его встретил город с населением пятьдесят тысяч душ – нищая колония, где семьи испанских аристократов порой питались хуже тащивших их повозки мулов.

Он приехал один. Начальник экспедиции Росс Нивен (надо сказать, экспедиция эта состояла всего из двух человек – Генри Уиттакера и Росса Нивена) умер по пути, когда они проплывали Кубу. Старому шотландцу вообще нельзя было покидать Англию. Это был бледный чахоточник, с каждым приступом харкающий кровью, но он отличался упрямством и утаил свою болезнь от Бэнкса. В открытом море Нивен не продержался и месяца. На Кубе Генри накалякал Бэнксу письмо, которое можно было прочесть, лишь приложив немало усилий; в нем он сообщал новость о смерти Нивена и выражал намерение продолжить миссию в одиночку. Ответа он дожидаться не стал. Не хотел, чтобы ему велели плыть домой.

Однако перед смертью Нивен успел оказаться полезным: он не поленился рассказать Генри кое-что о цинхоне, или, как ее еще называли, малярийном дереве. Если верить Нивену, в году так 1630-м иезуитские миссионеры, поселившиеся в перуанской части Анд, впервые заметили, что индейцы племени кечуа пьют горячий напиток из толченой коры, вылечивающий лихорадку и озноб, бывшие не редкостью в чрезвычайно холодном высокогорном климате. Один любознательный монах решил узнать, сумеет ли горький порошок из коры цинхоны помочь при лихорадке и ознобе, возникающих при малярии. В Перу эту болезнь даже не знали, зато в Европе она уже много веков сводила в могилу что бедняков, что папу Римского. Иезуит отправил немного коры цинхоны в Рим, этот отвратительный рассадник малярии, вместе с указаниями, как испытать лекарство. И – о чудо! – оказалось, что по причинам, никому не известным, цинхона действительно останавливает разрушительное течение болезни. В чем бы ни заключалось ее действие, кора полностью излечивала малярию и не имела побочных эффектов, за исключением глухоты – впрочем, для тех, кто выжил, это была невеликая цена.

К началу восемнадцатого века перуанская – или, как ее еще звали, иезуитская – кора стала самым ценным товаром, который везли из Нового Света в Старый. Один грамм иезуитской коры стоил, как грамм серебра. Это было лекарство для толстосумов, но в Европе таких было не счесть, и большинство отнюдь не горели желанием умереть от малярии. Потом иезуитская кора вылечила Людовика Четырнадцатого, и цены на нее взлетели до небес. И пока Венеция богатела, торгуя перцем, а Китай – чаем, иезуиты набивали кошельки, добывая кору деревьев, росших только в Перу.

Лишь британцы не спешили оценить преимущества цинхоны – главным образом из-за того, что среди них сильны были антииспанские и антипапские предрассудки, но также и потому, что английские доктора по-прежнему любили пускать кровь пациентам, а не пичкать их диковинными порошками. Вдобавок производство лекарства из коры было наукой сложной. Одних только видов этого дерева было около семидесяти, и никто толком не знал, кора какого из них самая сильнодействующая. В этом оставалось полагаться на порядочность сборщика, а сборщиком, как правило, был индеец, живущий в шести тысячах милях от Лондона. Порошки, встречавшиеся под видом иезуитской коры у лондонских аптекарей, попадали в страну контрабандой по тайным каналам из Бельгии и были по большей части подделкой, к тому же бесполезной. Тем не менее о коре в конце концов услышал сэр Джозеф Бэнкс, и она его заинтересовала. Продукт этот по-прежнему был окружен завесой тайны, но Бэнкс горел желанием узнать о нем как можно больше. А теперь такое же желание появилось и у Генри Уиттакера, который усмотрел в коре перуанского дерева возможность разбогатеть.

Вскоре Генри уже несся по Перу, словно гонимый острием штыка, только вместо штыка было его собственное неистовое упорство. Перед самой смертью Росс Нивен дал ему три цен-

ных наставления касательно путешествий по Южной Америке, и юноша предусмотрительно выполнил все три. Первое: никогда не носи сапог. Лучше пусть подошвы огрубеют и станут как стопы индейцев; навек забудь о гниющих оковах сырой звериной кожи. Второе: избавься от тяжелого платья. Одевайся легко и привыкай мерзнуть, как индейцы. Тогда сохранишь здоровье. Третье: по примеру индейцев купайся в реке каждый день.

Это было все, что Генри Уиттакер знал, кроме того, что цинхона может принести богатство и найти ее можно лишь высоко в Андах, в самой дальней части Перу, называемой Лохой. У него не было ни проводника, ни карты, ни книги, указывающей, куда идти, поэтому он все решал сам. По пути в Лоху ему пришлось столкнуться с течением рек, уколами шипов, змеями, болезнью, зноем, холодом, дождем и испанскими властями, но самую большую опасность представляла шайка его угрюмых носильщиков, бывших рабов и озлобленных негров, ведь он мог лишь догадываться о том, что означают их слова и какие обиды и замыслы таятся в их душах.

Босоногий и голодный, он шел дальше. А чтобы поддержать силы, жевал листья коки, как делали индейцы. Он нашел способ выучить испанский, упрямо решив, что уже знает его и окружающие его понимают. А если не понимали, начинал кричать на них, все более повышая голос, и в конце концов ему удавалось докричаться. Он нашел регион, который называли Лохой. Нашел и подкупил *каскариллерос*, сборщиков коры, местных жителей, знавших, где росли хорошие деревья. Продолжил поиски и нашел целые рощи цинхоны, о которых не знал никто.

Генри недаром был сыном садовника: он вскоре обнаружил, что большинство деревьев были в плохом состоянии, страдали от болезней и чрезмерного использования. Лишь у немногих были стволы толщиной с него, а более крупных деревьев он вообще не видел. В местах, где кору ободрали, он начал оборачивать деревья мхом, чтобы дать им возможность залечить раны. Научил каскариллерос срезать кору продольными полосками, а не губить дерево, обдирая его поперек. Больные цинхоны он нещадно подрезал, освобождая место для новой поросли. Потом он заболел, но продолжал работать. А когда от болезни и инфекции у него отнялись ноги, приказал индейцам привязать себя к мулу, как пленного, и навещал свои деревья каждый день. Он ел морских свинок. А однажды застрелил ягуара.

Он прожил в Лохе четыре полных лишения года, ходил босиком, мерз и спал в хижине с босыми и замерзшими индейцами, которые жгли навоз для обогрева. Он взращивал свою цинхоновую рощу – по закону та принадлежала Испанской королевской аптеке, но Генри втайне считал ее своей. Он забрался так высоко в горы, что ни один испанец ни разу ему не помешал, а через некоторое время и индейцы перестали обращать на него внимание. Он узнал, что чем темнее кора цинхоны, тем эффективнее добываемое из нее лекарство; а самая сильнодействующая кора была у новой поросли. Он пришел к выводу, что деревья нуждаются в частой подрезке. Генри классифицировал и назвал семь новых видов цинхоны, но большинство из них считал бесполезными. Тогда он сосредоточил внимание на разновидности, которую назвал *цинхона роха* – красное дерево: она была самой плодоносящей. И чтобы повысить урожайность, привил черенок красной цинхоны к корневому побегу более выносливого и болезнестойкого вида.

Еще Генри много размышлял. Ведь у молодого человека, оказавшегося в одиночестве в далеком высокогорном лесу, появляется много времени на раздумья; так в его голове родилось немало великих теорий. Со слов покойного Росса Нивена он знал, что торговля иезуитской корой приносит испанской короне десять миллионов реалов в год. Так почему сэр Джозеф Бэнкс захотел, чтобы Генри лишь изучал этот вид, когда они могли бы пустить его в продажу? И почему производство коры необходимо вести лишь здесь, в этом труднодоступном уголке Земли, и больше нигде? Генри вспомнил, как отец учил его тому, что на протяжении всей человеческой истории за ценными видами всегда велась охота, и лишь потом их догадались

выращивать, и что охотиться на дерево (к примеру, забраться в Анды, чтобы отыскать треклятую цинхону) куда менее эффективное предприятие, чем *уход за деревом* (к примеру, если научиться выращивать его в другом месте, в контролируемой среде). Он также знал, что французы попытались перевезти цинхону в Европу в 1730 году, но ничего у них не получилось, и, кажется, он понимал почему: потому что французы не учли разницу высот. Цинхону нельзя было вырастить в долине Луары. Этот вид нуждался в высокогорном разреженном воздухе, в лесах с большой влажностью, а во Франции такого места не было. И в Англии тоже. Да и в Испании, раз на то пошло. А жаль. Климат из страны не вывезешь.

Однако за четыре года своих раздумий Генри нашел ответ: Индия. Он готов был поспорить, что цинхона разрастется в прохладных и влажных предгорьях Гималаев. Сам он там никогда не был, но слышал об этом месте от британских офицеров в Макао. Вдобавок, почему бы не выращивать это полезное лекарственное растение вблизи очага распространения малярии – там, где в нем действительно есть потребность? В Индии иезуитская кора нужна как воздух – что еще поможет справиться с лихорадкой, подтачивающей силы британских войск и местных поденщиков? В то время порошок стоил слишком дорого, чтобы давать его простым солдатам и работягам, но все может измениться. В 1780 году по пути с перуанских плантаций на европейские рынки цена на кору цинхоны выросла почти на двести процентов, но большую часть этой наценки составляли расходы на перевозку. Самое время было прекратить охоту за цинхонной и начать выращивать ее на продажу поближе к тому месту, где в ней нуждаются. Генри Уиттакер, которому к тому времени исполнилось двадцать четыре года, верил, что заниматься этим должен он.

Он уехал из Перу в начале 1784 года, взяв с собой лишь заметки, образцы коры, завернутой в льняную ткань, и большой гербарий, но еще он захватил корневые побеги красной цинхоны и десять тысяч семян. Кроме того, он привез домой несколько видов перца, настурций и пару редких фуксий. Но главным приобретением была его коллекция семян. Генри дождался их два года – ждал, пока его лучшие деревья зацветут, а цветы не тронут заморозки. Он месяц сушил семена на солнце, переворачивая их раз в два часа, чтобы те не заплесневели, а на ночь заворачивал в льняную ткань, чтобы уберечь от росы. Он знал, что семена редко выживают в океанских плаваниях (даже Бэнксу не удалось привезти живые семена из своих путешествий на кораблях капитана Кука), поэтому Генри решил провести эксперимент и применил три разные технологии хранения. Часть семян закопал в песок, другие залил воском, а третью часть обложил сухим мхом. Затем поместил каждую из партий в бычий пузырь, чтобы уберечь от сырости, и обернул шерстью альпаки, чтобы их никто не нашел.

Монополия на добычу цинхоны по-прежнему принадлежала испанцам, так что по закону Генри считался контрабандистом. По этой причине он решил обойти стороной оживленный Тихоокеанский берег и ехать на восток – по суше – через весь южноамериканский континент. При нем был паспорт, согласно которому он являлся французским торговцем тканями. Генри, его мулы, бывшие рабы и угрюмые индейцы избрали путь воров – из Лохи по реке Замора к Амазонке, а оттуда к берегу Атлантики. Там он сел на корабль до Гаваны, а после до Кадиса, и таким образом Генри вернулся в Англию. Путь домой занял у него полтора года. По дороге ему не встретились ни пираты, ни шторма, ни смертельные болезни. Ни один саженец не погиб. Это было не так уж сложно.

Сэр Джозеф Бэнкс будет доволен, думал Генри.

* * *

Но когда Генри снова предстал перед сэром Джозефом в уютной резиденции в доме тридцать два на Сохо-сквер, тот был недоволен. Бэнкс был стар, болен и рассеян – таким Генри его

еще не видел. Страшно мучимый подагрой, он был поглощен собственными научными замыслами, которые считал важными для будущего Британской империи.

Бэнкс пытался найти способ покончить с зависимостью Англии от иностранных поставщиков хлопка и с этой целью отправил ботаников на острова Британской Вест-Индии, чтобы те попытались вырастить хлопок там, но их труды пока не увенчались успехом. Кроме того, желая нарушить монополию голландцев на торговлю специями, он пробовал вырастить в Кью мускатный орех и гвоздику, но тоже безуспешно. Он предстал перед королем с предложением превратить Австралию в штрафную колонию (эта идея пришла ему на досуге), но пока к нему никто не прислушался. Еще он работал над строительством сорокафутового телескопа для астронома Уильяма Хершеля, желавшего открыть новые кометы и планеты. Но больше всего Бэнксу нужны были шары для воздухоплавания. У французов они были. Французы проводили эксперименты с газами, весившими меньше, чем воздух, и запускали людей летать над Парижем. Они опередили англичан! Бог свидетель, ради науки и государственной безопасности *Британской империи срочно нужны были шары.*

Поэтому в тот день Бэнкс был не настроен слушать Генри Уиттакера, убежденного в том, что на самом деле Британской империи нужны плантации цинхоны в индийских Гималаях, на средней высоте. Ведь эта идея никак не решала проблемы с выращиванием хлопка и специй, поиском комет и полетами на воздушных шарах. Голова Бэнкса была забита под завязку, нога чертовски болела, а наглый вид Генри Уиттакера сам по себе раздражал до такой степени, что он не обратил внимания на его слова. Этим сэр Джозеф Бэнкс допустил редкую стратегическую ошибку – ошибку, которая в итоге дорого обошлась Англии.

Но надо сказать, в разговоре с Бэнксом в тот день Генри тоже допустил стратегическую ошибку, и не одну, а несколько. Во-первых, он явился в дом тридцать два на Сохо-сквер без приглашения. Прежде он так делал, но тогда он был дерзким пареньком, и подобное нарушение этикета было ему простительно. Теперь же Генри стал взрослым мужчиной (и притом здоровяком), чей настойчивый грохот в дверь можно было счесть не только неучтивостью, но и угрозой физической расправы.

Вдобавок Генри предстал перед Бэнксом с пустыми руками, чего никогда не следует делать ботанику-коллекционеру. Его перуанские тайники остались на борту судна, приплывшего из Кадиса и стоявшего на якоре в порту. Генри собрал впечатляющую коллекцию, но как мог Бэнкс об этом знать, не видя образцов, спрятанных где-то далеко в недрах торгового корабля внутри бычьих пузырей, бочек, дерюжных мешков и вардианских кейсов⁶? Лучше бы Генри прихватил с собой что-то, что можно повертеть в руках, пусть не черенок красной цинхоны, но хотя бы прекрасную цветущую фуксию. Все что угодно, лишь бы привлечь внимание старика, умастить его и заставить поверить в то, что сорок фунтов в год, вложенные им в Генри Уиттакера и перуанскую экспедицию, не потрачены даром.

Но Генри любезничать не привык. Вместо этого он с порога обрушился на Бэнкса с неприкрытыми обвинениями:

– Зря вы, сэр, отправили меня изучать цинхону, когда ее нужно продавать! – Проронив эти совершенно необдуманные слова, Генри все равно что обозвал Бэнкса болваном и одновременно осквернил дом тридцать два на Сохо-сквер неприятным душком *торгашества*, как будто сэру Джозефу Бэнксу, самому богатому джентльмену во всей Британии, могло прийти в голову лично заняться коммерцией!

Справедливости ради заметим, что Генри мыслил не совсем здраво. Он много лет провёл в одиночестве в далеком лесу, а воображение молодых людей в лесу порой может опасно

⁶ Калька с английского *Wardian case* – «цветочный ящик Уорда», или флорариум, контейнер, использовавшийся для перевозки растений с середины XIX века. Тут у Гилберта небольшая нестыковка – ее Генри Уиттакер уехал из Перу в 1784 году, а Натаниэль Уорд, изобретатель вардианского кейса, родился лишь в 1791 году.

разгуляться. В своей голове он уже так много раз обсуждал эту тему с Бэнксом, что теперь, когда дошло до реального разговора, его охватило нетерпение. Ведь в его воображении все уже было решено и его идея увенчалась успехом! Генри считал, что есть лишь один возможный вариант развития событий: Бэнкс должен обрадоваться его идее, посчитав ее блестящей, представить Генри кому нужно в Министерстве по делам Индии, обеспечить финансирование и дать его потрясающему проекту ход, желательно завтра после обеда. В мечтах Генри плантации цинхоны уже росли в Гималаях, а он сам стал баснословно богатым человеком, как и посулил ему однажды сэр Джозеф Бэнкс, а лондонское высшее общество приняло его как настоящего джентльмена. Но главная ошибка Генри Уиттакера была в том, что он позволил себе поверить в то, что они с сэром Джозефом Бэнксом теперь могли считаться милыми, старыми закадычными друзьями.

По правде говоря, к этому времени Генри Уиттакер и сэр Джозеф Бэнкс вполне могли бы считаться милыми, старыми закадычными друзьями, если бы не одна маленькая проблема: дело в том, что в глазах сэра Джозефа Бэнкса Генри Уиттакер всегда был лишь презренным низкородным работягой и потенциальным вором, чьим единственным предназначением в жизни было служение на пользу тем, кто стоял выше его, ровно до тех пор, пока он не исчерпает свои возможности.

– Еще, – продолжил Генри, хотя Бэнкс еще не оправился от оскорбления своих чувств, чести и своей гостиной, – полагаю, нам следует обсудить мою рекомендацию в члены Королевского общества⁷.

– Минуточку, – встрепенулся Бэнкс, – а кто, соизвольте спросить, рекомендовал вас в члены Королевского общества?

– Полагаю, это сделаете вы, – ответил Генри, – в награду за мои труды и мастерство.

Тут Бэнкс надолго потерял дар речи. Его брови зажили своей жизнью и взлетели на самую верхушку лба. Он резко вдохнул. А потом, к несчастью для будущего Британской империи, расхохотался. Он хохотал так сильно, что в какой-то момент ему пришлось вытереть глаза платком из бельгийского кружева, который, верно, стоил больше, чем дом, где вырос Генри Уиттакер. После столь утомительного дня посмеяться было так приятно, и Бэнкс отдался этому веселью всем своим существом. Он смеялся так заразительно, что стоявший за дверью камердинер просунул голову в щелочку, желая узнать, что же вдруг так развеселило хозяина. Бэнкс хохотал так громко, что не мог говорить. Что, пожалуй, было и к лучшему, ведь, не зайдись он в приступе хохота, ему трудно было бы подобрать слова, чтобы выразить весь абсурд этой идеи – что Генри Уиттакер, который, по-хорошему, уже восемь лет как должен болтаться на виселице в Тайберне, Генри Уиттакер, с его крысиной мордочкой врожденного карманника, чьи жуткие каракули так веселили Бэнкса все эти годы и чей отец (вот бедолага!) так до сих пор и жил среди свиней и яблонь, что этот неоперившийся *жулик* ждет, будто его пригласят в самое почтенное и благородное научное сообщество во всей Британии! Ну что за смех!

Заметим, что сэр Джозеф Бэнкс был всеми уважаемым председателем Королевского общества, о чем было хорошо известно Генри; и если бы ему пришло в голову порекомендовать в члены хромого барсука, Королевское общество приняло бы зверушку с распростертыми объятиями и даже отчеканило бы для нее почетную медаль. Но принять Генри Уиттакера? Позволить этому бесцеремонному авантюристу, этому скользкому хлыщу, этому неотесанному чурбану добавить инициалы «Ч. К. О.» к своей неразборчивой подписи?

Ну уж нет.

Когда Бэнкс начал смеяться, в животе у Генри ухнуло, и внутренности сжались в маленький твердый комок. Горло сдавило так, будто ему действительно наконец накинута петля на шею. Он зажмурился и увидел перед глазами кровь. Он был вполне способен на убийство. Он

⁷ Научное общество, основанное в 1660 году; выполняет роль Академии наук.

представил, как убивает Бэнкса; представил последствия этого поступка. У него было сколько угодно времени на обдумывание убийства Бэнкса, пока тот покатывался со смеху.

Нет, решил Генри. Убивать его он не станет.

Когда он открыл глаза, Бэнкс по-прежнему хохотал, но Генри стал другим человеком. Если до того момента в нем еще оставалось что-то от мальчишки, смех Бэнкса выбил это из него окончательно. С того самого момента главным в его жизни стало не то, кем он *станет*, а то, что он сможет *получить*. Благородным джентльменом ему не быть никогда. Ну и ладно. К чертям благородных джентльменов. К чертям их всех. Генри станет богаче всех благородных джентльменов, когда-либо коптивших небо, и в один прекрасный день все они будут принадлежать ему, все до последнего. Генри дождался, когда Бэнкс успокоится, и вышел из комнаты, не проронив ни слова.

Он тут же пошел в переулок и нашел себе шлюху. Прижав ее к стене подворотни, выбил из себя свою девственность, в процессе покалечив и девицу и себя, и в конце концов она обозвала его скотиной. Тогда он нашел паб, выпил две кружки рома и ударил в живот какого-то выпивоху; его вышвырнули на улицу и отколошматили по почкам. Итак, дело было сделано. Всё, от чего он берегся последние восемь лет с целью стать уважаемым джентльменом, – он всё это сделал. И как легко это оказалось! Удовольствия он не получил, это верно, но дело было сделано.

Потом он нанял лодочника, и тот отвез его вверх по реке, в Ричмонд. Была уже ночь. Генри прошел мимо жалкого родительского дома, не замедляя шага. Он никогда больше не увидит родителей – он не хотел их видеть. Он пробрался в Кью, нашел лопату и вырыл все деньги, которые закопал в садах, когда ему было шестнадцать. В тайниках его ждало немало серебра – гораздо больше, чем он помнил.

«Молодец», – похвалил он юного бережливого воришку, каким был когда-то.

Заночевал он у реки, подложив под голову отсыревший мешок с монетами. А на следующий день вернулся в Лондон и купил себе более-менее приличный костюм. Он лично проследил, чтобы всю его перуанскую коллекцию, включая семена, выгрузили с судна, приплывшего из Кадиса, и погрузили на корабль, отплывающий в Амстердам. По закону вся эта коллекция принадлежала Кью. Но Генри решил послать Кью к дьяволу. Пусть катится в самое пекло. Пусть кто-нибудь из Кью возьмет и попробует его отыскать.

Через три дня он отплыл в Голландию, где продал свою коллекцию, замысел и услуги голландской Ост-Индской компании, и надо отметить, неулыбчивые и прозорливые голландские управляющие выслушали его, ни разу не засмеявшись.

Глава четвертая

Прошло семь лет, Генри Уиттакер разбогател и собирался стать еще богаче. Его плантации цинхоны в голландском колониальном поселении на Яве процветали; как он и предсказывал, на прохладных и влажных горных террасах поместья Пенгаленган, в условиях, почти идеально повторяющих климат перуанских Анд и нижних гималайских предгорьев, цинхона росла, как сорняк. Мировые цены на иезуитскую кору теперь определяли партнеры Генри в Амстердаме; они получали по шестьдесят флоринов за каждые сто фунтов обработанной коры. А обрабатывать ее едва успевали. Это была золотая жила, но причиной такой прибыльности была дотошность Генри. Ведь он продолжал совершенствовать свою рощу, которая теперь была защищена от перекрестного опыления менее жизнестойкими породами и рождала более сильноедействующую и крепкую кору, чем деревья из самого Перу. Кроме того, эта кора хорошо переносила перевозку, а поскольку испанцы и индейцы не прикладывали к операциям Генри свою недобросовестную руку, его товар во всем мире считался надежным.

Крупнейшими производителями и потребителями иезуитской коры теперь были голландские колонии. По всей Ост-Индии простые солдаты и рабочие излечивались от малярийной лихорадки, принимая порошок цинхоны. Это давало голландцам в буквальном смысле неизмеримое преимущество перед другими колониальными державами, в особенности перед Англией. С мстительным упорством Генри делал все возможное, чтобы его кора никоим образом не проникла на британский рынок; а если она и попадала в Англию и английские колонии, то продавалась по задранной выше некуда цене.

Тем временем выбывший из игры сэр Джозеф Бэнкс в конце концов попытался вырастить цинхону в Гималаях, но без Генри Уиттакера и его знаний проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Британцы тратили деньги, силы и нервы, выращивая неподходящие виды цинхоны на неподходящей высоте. Генри знал об этом и тихо злорадствовал. К 1790 году огромное число британских граждан и верноподданных в Индии гибли от малярии каждую неделю, не имея в своем распоряжении качественной иезуитской коры. Голландцы тем временем в крепком здравии продолжали свое колониальное наступление.

Генри восхищался голландцами, и работать с ними ему нравилось. Ему не стоило труда понять этот народ – нацию кальвинистов, трудолюбивых и неутомимых, которые рыли каналы, пили пиво, говорили без обиняков и считали каждую монету. С шестнадцатого века они пытались превратить торговлю в дело организованное и каждую ночь спали спокойно, потому что верили: Бог почему-то хочет, чтобы у них водились деньги. Голландия была страной банкиров, торговцев и садовников, а граждане ее, как и Генри, любили обещания, лишь если те подразумевали прибыль, и потому весь мир был у них в долгу и платил за все с высокими процентами. Голландцы не осуждали Генри за грубые манеры и напористость. И очень скоро Генри Уиттакер и голландцы совместными усилиями обогатились. В Голландии кое-кто даже прозвал его «принцем Перу».

В 1791 году Генри исполнился тридцать один год; он был богатым человеком и решил, что пора распланировать оставшуюся жизнь. Во-первых, у него появилась возможность начать собственное предприятие независимо от голландских партнеров, и он стал внимательно изучать все возможные варианты. Минералы и драгоценные камни его не привлекали, так как он ничего не знал о минералах и камнях. То же касалось кораблестроения, печатного дела и экспорта тканей. Оставалась ботаника. Но чем именно заняться? Генри не хотел ввязываться в торговлю специями, хотя он знал, что это дело приносит баснословную прибыль. Слишком много стран уже этим занимались, а средства, пущенные на то, чтобы уберечь товар от пиратов и кораблей конкурентов, по подсчетам Генри, превосходили выручку. Торговля сахаром и хлопком также не вызывала у него восторгов: слишком уж ненадежное это было предприятие,

и затратное, да еще и построенное на рабском труде. Генри Уиттакер не желал иметь с рабством ничего общего – не потому, что это претило его морали, а потому, что считал рабский труд экономически неэффективным, некачественным и дорогостоящим; вдобавок посредниками в работоторговле выступали самые гнусные типы на Земле. Нет, больше всего его привлекала торговля лекарственными растениями – рынок, где пока не было монополистов.

И он решил заниматься растениями и аптекарским делом.

Дальше нужно было понять, где он будет жить. На Яве у него было прекрасное поместье с сотней слуг, но тамошний климат за годы подточил его здоровье, наградив тропическими болезнями, последствия которых мучили его до самой смерти. Ему нужен был дом в стране с более умеренным климатом. Но он скорее бы отрезал себе руку, чем снова поселился в Англии. Европейский континент нравился ему еще меньше: во Франции жили пренеприятнейшие люди; в Испании царили коррупция и нестабильность; в России жить было вовсе невозможно; в Италии – полный абсурд; немцы были слишком чопорны, а в Португалии грянул кризис. Жизнь в Голландии была скучна, хоть голландцы и были настроены к нему благосклонно.

Тогда он обратил свой взор в сторону Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах Генри никогда не бывал, но до него доходило много обнадеживающих отзывов. Особенно много обнадеживающего он слышал о городе, называемом Филадельфией – оживленной столице молодого государства. Говорили, что это город с хорошим торговым портом, центральный на восточном побережье Соединенных Штатов, и живут там прагматичные квакеры, фармацевты и трудяги-фермеры. Это было место, где, по слухам, не было ни надменных аристократов (в отличие от Бостона), ни пуритан, чуравшихся всяких удовольствий (те обретались в Коннектикуте), ни назойливых самозванных феодальных князьков (такие имелись в Виргинии). Отец города Уильям Пенн растил саженцы в ваннах для купания и мечтал о том, что его метрополис станет великим питомником, где деревья и идеи будут взращиваться бок о бок; он основал Филадельфию на здоровых принципах религиозной терпимости, свободной печати и грамотного ландшафтного проектирования. В Филадельфии были рады всем без исключения, кроме, разумеется, евреев. Услышав об этом, Генри стал думать, что этот город представляет собою обширное поле нереализованных прибыльных начинаний, и решил использовать все преимущества своего нового места жительства.

Однако, прежде чем осесть в одном месте, Генри хотел найти себе жену, а поскольку он был умен, то решил, что она должна быть голландкой. Ему нужна была умная и порядочная женщина, по возможности совсем лишенная легкомыслия, – а где еще найти такую, как не в Нидерландах? За прошедшие годы Генри, бывало, обращался к проституткам и даже держал юную яванку в своем поместье Пенгаленган, но теперь пришло время жениться как положено. Тут он вспомнил совет мудрого португальского матроса, который много лет назад сказал: «Генри, секрет процветания и счастья прост. Выбери одну женщину из всех, и пусть твой выбор будет мудрым, а после смиришься».

И вот он поплыл в Голландию выбирать себе жену. Выбрал он быстро, но обдуманно, сделав предложение девушке из уважаемого старого рода ван Девендеров. Ван Девендеры много поколений были кураторами амстердамского ботанического сада Хортус – одного из главных европейских центров изучения ботаники – и все это время с честью выполняли свои обязанности. Они не были аристократами и уж точно не были богаты, но Генри не нужна была богатая жена. Так чем же тогда его так привлекли ван Девендеры? Они принадлежали к европейской научной элите. И это восхищало Генри.

Но, увы, восхищение не было взаимным. Якоб ван Девендер, в то время занимавший место патриарха рода и управляющего Хортусом (а также в совершенстве овладевший искусством разведения декоративного алоэ), был наслышан о Генри Уиттакере и не испытывал к нему симпатии. Он знал, что у этого молодого человека воровское прошлое и что он продал родину ради наживы. Подобные поступки были не по нутру Якобу ван Девендеру. Якоб был

голландцем и, как все голландцы, любил деньги, но не был банкиром или дельцом. И человеческое достоинство в его глазах не измерялось глубиной кошелька.

Но у Якоба ван Девендера была дочь, превосходная претендентка на выданье – по крайней мере, так думал Генри. Ее звали Беатрикс, и она не была ни дурнушкой, ни красавицей: для жены в самый раз. Крепко сбитая и плоскогрудая, она напоминала круглобокий маленький бочонок и уже почти считалась старой девой, когда Генри ее встретил. Беатрикс ван Девендер отпугивала большинство женихов тем, что была слишком образованна и не отличалась чрезмерно веселым нравом. Она свободно говорила на пяти живых и двух мертвых языках, а своим знанием ботаники не уступала мужчинам. Что уж спорить, кокеткой эта женщина не была. И ни одну гостиную не украсила бы. Она носила платья всех оттенков воробьиных перьев. И с крайним подозрением относилась к страсти, преувеличениям и внешней красоте, доверяя лишь солидным и надежным вещам и всегда руководствуясь накопленным опытом, а не импульсивными инстинктами. Генри она казалась живым куском мрамора, а именно это ему и было нужно.

А что же Беатрикс нашла в Генри? Здесь перед нами явная загадка. Генри не был хорош собой. Он совершенно точно не был благороден. По правде говоря, в его грубом лице, больших ладонях и неотесанности было что-то от деревенского кузнеца. С другой стороны, Беатрикс тоже не была цветочком. Деньги у Генри, бесспорно, водились, и, возможно, его богатство привлекало Беатрикс больше, чем она смела себе в этом признаться. Он хотел взять ее в Америку, а она, видимо, стремилась уехать из Голландии. Однако при всем при том его нельзя было назвать ни солидным, ни надежным человеком. Генри Уиттакер был горячим, импульсивным, громкогласым, агрессивным малым, нажившим себе врагов по всему миру. В последние годы он стал выпивать. Не раз и не два раза в месяц его можно было встретить бесчинствующим на улице – он распевал во все горло, оседлав бочку с элем, или мутузил ни в чем не повинных матросов, которых видел впервые в жизни, за грехи других матросов, совершенные давным-давно.

«У этого человека нет принципов», – заявил Якоб ван Девендер дочери.

«Отец, вы глубоко ошибаетесь, – возразила ему Беатрикс. – У Генри Уиттакера есть принципы. Но не самый лучший набор».

Они с Генри не слишком подходили друг другу, но, возможно, побуждения Беатрикс можно было истолковать таким образом: есть люди, чье существование напоминает одну прямую узкую линию, но если уж эти люди сворачивают с колеи (а это порой случается всего раз в жизни), то сворачивают круто. За всю свою жизнь Беатрикс ван Девендер поступила импульсивно лишь раз: круто свернула и выехала напрямик навстречу Генри Уиттакеру.

Родители от нее отреклись. Нет, вернее будет сказать, что Беатрикс сама от них отреклась. Они были суровыми людьми – все ее семейство. Они не одобрили ее брак, а любые разногласия в семье ван Девендеров были пожизненными. Беатрикс предпочла Генри, уехала в Соединенные Штаты и никогда больше не общалась с амстердамской родней. Последним из родственников, которого она видела перед отплытием, был младший брат Дис, которому тогда было десять лет; он плакал, хватался за ее юбки и причитал: «Они ее у меня отнимают! Отнимают!» Беатрикс же отцепила его пальцы от подола платья и велела никогда больше не позориться, заливаясь слезами у всех на виду. И ушла.

Беатрикс увезла в Америку свою горничную – молодую дебелую тетку по имени Ханнеке де Гроот, которая умела все. Она также стащила из отцовской библиотеки (без его разрешения, надо сказать) «Микрографию» Роберта Гука⁸ 1665 года издания и довольно ценную коллекцию ботанических иллюстраций Леонарта Фукса⁹. Кроме того, Беатрикс пришила дюжину

⁸ Роберт Гук (1635–1703) – английский естествоиспытатель и ученый, один из отцов физики. В «Микрографии», впервые опубликованной в 1665 году, описаны его микроскопические и телескопические наблюдения.

⁹ Леонарт (Леонхарт) Фукс (1501–1566) – немецкий ботаник, ученый и врач. Считается одним из отцов ботаники. В его честь названо растение фуксия.

карманов к дорожному платью и набила их редчайшими луковицами тюльпанов из собрания Амстердамского ботанического сада, для сохранности завернув их в мох. Еще она взяла с собой несколько дюжин чистых бухгалтерских книг.

Другими словами, уже тогда Беатрикс планировала свою библиотеку, сад – и, как впоследствии оказалось, свое состояние.

* * *

Беатрикс и Генри Уиттакер прибыли в Филадельфию в начале 1792 года. В то время город, в котором не было ни стен, ни других укреплений, состоял из оживленного порта, нескольких кварталов с деловыми и государственными конторами, фермерских поселений и элегантных новых усадеб. Это был город бесчисленных перспективных возможностей, поистине плодородная почва для взращивания начинаний. Всего год тому назад здесь открылся Первый банк Соединенных Штатов. Все силы Содружества Пенсильвании были пущены на войну с лесом, и граждане, вооруженные топорами, воловьими упряжками и честолюбивыми замыслами, в этой войне побеждали. Генри же купил триста пятьдесят акров холмистых пастбищных земель и девственных лесов вдоль западного берега реки Скулкилл и намеревался расширить свои владения при первой же возможности.

По его замыслу, он должен был разбогатеть к сорока годам, но гнал коней так нещадно, что прибыл на место раньше времени. Ему было всего тридцать два, а он уже успел сколотить внушительное состояние. На его банковских счетах хранились суммы в фунтах, флоринах, гинеях и даже русских рублях. Генри планировал стать еще богаче. Но пока, с приездом в Филадельфию, решил, что настала пора выставить богатство напоказ.

Генри Уиттакер назвал свои владения «Белыми акрами», обыграв так собственное имя¹⁰, и тут же взялся за строительство палладианского особняка подходящих лорду размеров, который должен был стать прекраснее любого частного дома в городе. Этот дом должен был быть каменным, просторным и пропорциональным, окрашенным в бледно-желтый цвет, с красивыми павильонами с восточной и западной стороны, портиком с колоннами с юга и широкой террасой с севера. Генри также возвел каретный флигель, большую кузницу, изящную сторожку и несколько садовых построек (в том числе первую из многих отдельно стоящих оранжерей, возведенную по подобию знаменитой оранжереи в Кью, и остов большой теплицы, которая впоследствии разрослась и достигла ошеломляющих размеров). А на илистом берегу реки Скулкилл, где всего полвека назад индейцы собирали дикий лук, построил собственную частную пристань для барж, точь-в-точь как в великолепных старинных поместьях на Темзе.

В те дни среди большинства жителей Филадельфии бросаться деньгами все еще было не принято, но, по задумке Генри, «Белые акры» должны были стать бесстыдным вызовом самой идее бережливости. Он хотел, чтобы стены дома кричали о его богатстве, а завистников не боялся. Напротив, его крайне развлекала мысль о том, что ему станут завидовать, да и с коммерческой точки зрения это было полезно, ведь зависть притягивала людей. Его особняк был спланирован таким образом, чтобы казаться величественным издали – его легко можно было увидеть с реки, поскольку он возвышался на мысе, надменный и роскошный, а с другой стороны невозмутимо взирал на город сверху вниз, – но помимо этого, он призван был стать самим воплощением роскоши, вплоть до мельчайших деталей. Все дверные ручки в «Белых акрах» были медными и всегда начищенными до блеска. Мебель заказывали у Седдона¹¹ в Лондоне, стены были оклеены бельгийскими обоями, ели из кантонского фарфора, погреб был набит

¹⁰ Whittaker и White Acre – схожее произношение в английском языке.

¹¹ Джордж Седдон (1727–1801) – английский краснодеревщик, чей мебельный салон одно время считался самым престижным в Лондоне.

ямайским ромом и французским кларетом, люстры вручную изготовлены венецианскими стеклодувами, а сирень, что росла вокруг дома, впервые цвела в садах Оттоманской империи.

Генри не препятствовал слухам о своем богатстве. Деньги у него водились, но если людям угодно было думать, что их у него больше, чем на самом деле, какой в этом вред? Когда соседи начали шептаться, что лошадей Генри Уиттакера подковывают серебром, он не стал их разубеждать. На самом деле подковы у его лошадей были не из серебра, а из железа, как и у всех остальных; мало того, Генри Уиттакер ставил их сам. Но зачем кому-то это знать, когда слухи звучат гораздо приятнее и внушительнее?

Генри знал не только о притягательности богатства, но и о более загадочной силе власти. И понимал, что его поместье должно не только ослеплять роскошью, но и устрашать. Людовик Четырнадцатый приглашал гостей на прогулки по своим увеселительным садам не развлечения ради, а для того, чтобы те убедились в его могуществе: все экзотические деревья в цвету, все сверкающие фонтаны и бесценные греческие статуи были всего лишь средством донести до мира одну-единственную недвусмысленную идею, а именно: даже не думайте объявлять мне войну! Генри Уиттакер желал, чтобы «Белые акры» производили точно такое впечатление.

Кроме того, Генри построил большой склад и фабрику в филадельфийской гавани и немедленно приступил к ввозу лекарственных растений со всего мира и приготовлению из них снадобий. Он ввозил рвотный корень, симарубу, ревень, кору гваякового дерева, каланговый корень и сассапариль. Он взял в партнеры аптекаря, честного квакера по имени Джеймс Гэррик, и вдвоем они тут же взялись за изготовление пилюль, порошков, мазей и сиропов.

Их с Гэрриком предприятие стартовало очень своевременно. Летом 1793 года в Филадельфии разразилась эпидемия желтой лихорадки. Все улицы были завалены трупами, и дети в канавах цеплялись за уже мертвых матерей. Люди умирали по двое, семьями и дюжинами, на пути к смерти извергая тошнотворные струи черной жижи изо рта. Местные врачи постановили, что единственным возможным лекарством является еще более мощное очищение организма многократной рвотой и поносом, а лучшее в мире слабительное в то время делали из растения под названием «ялапа». Генри Уиттакер ввозил его из Мексики тюками.

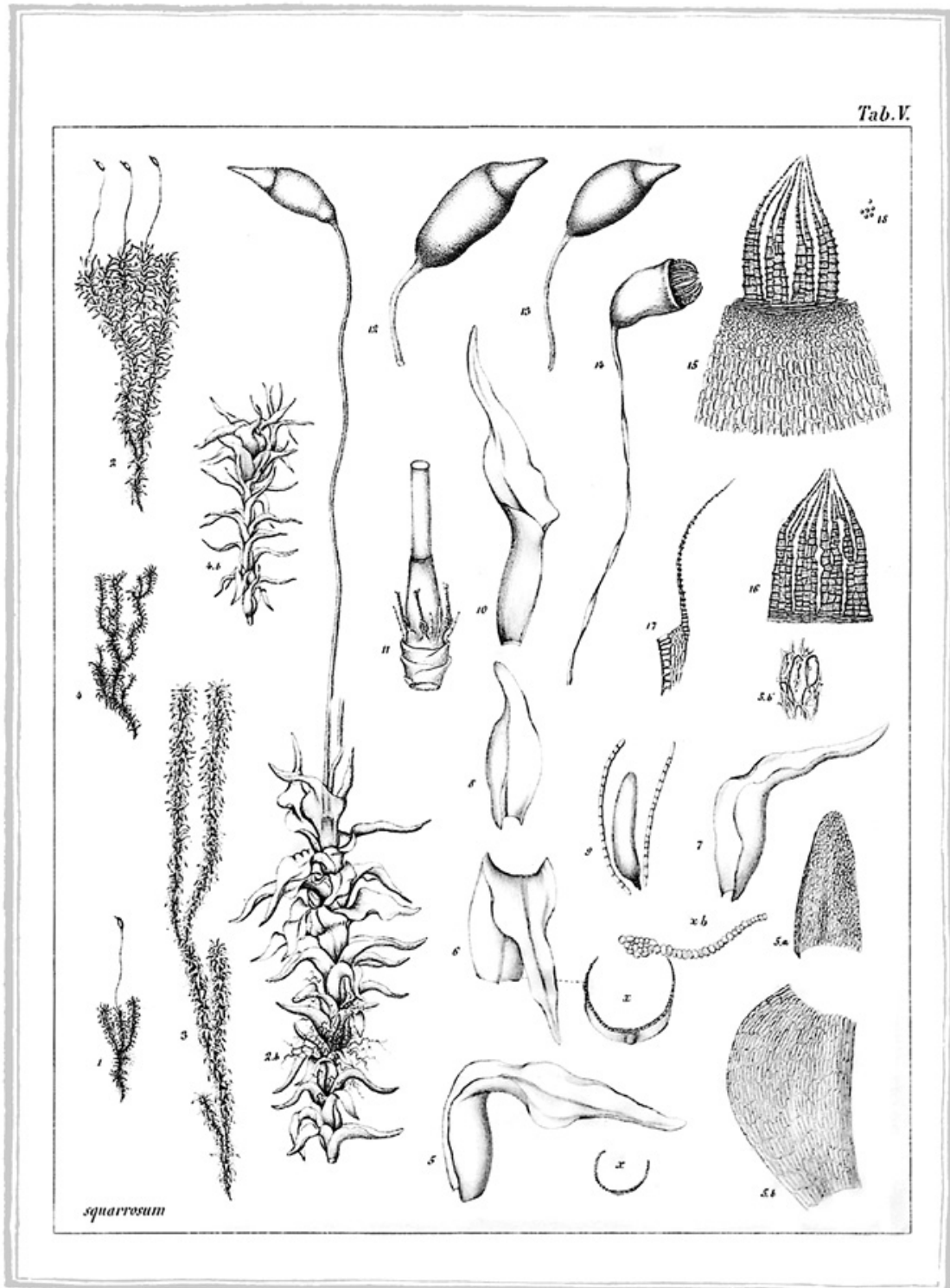
Сам Генри подозревал, что ялапа в данных обстоятельствах ничего не лечит, и запретил кому-либо из своих домашних ее принимать. Он знал, что креольские врачи с островов Карибского моря, знакомые с желтой лихорадкой гораздо ближе своих северных коллег, прописывали пациентам куда менее варварское лечение – покой и тонизирующие напитки. Но, в отличие от ялапы, покой и тонизирующие напитки нельзя было продать задорого. Так и вышло, что к концу 1793 года треть жителей Филадельфии умерли от желтой лихорадки, а Генри Уиттакер удвоил свое состояние.

На заработанные деньги Генри построил еще две оранжереи. По совету жены он стал выращивать местные цветы, деревья и кусты на экспорт в Европу. Американские луга и леса кишели ботаническими видами, казавшимися экзотикой европейскому глазу, и Беатрикс советовала Генри продавать их все за границу. Идея себя оправдала. Генри надоело отправлять из Филадельфии корабли с пустыми трюмами, а так можно было зарабатывать непрерывно. Плантации на Яве и обработка иезуитской коры с голландскими партнерами по-прежнему приносили ему прибыль, но сколотить состояние можно было и в Америке. В 1796 году по приказу Генри сборщики уже прочесывали Пенсильванские горы в поисках корня женьшеня, который затем экспортировали в Китай. В течение многих лет Генри был единственным человеком в Америке, который нашел способ продать что-то китайцам.

К концу 1798 года в оранжереях у Генри росло множество экзотических растений из тропиков, которые он продавал новым американским аристократам. Экономика Соединенных Штатов переживала резкий и крутой подъем. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон ушли в отставку и уединились в своих загородных поместьях. И все тут же захотели иметь загородные поместья. Молодая нация вдруг начала швыряться деньгами. Одни богатели, другие

нищали. Но траектория Генри всегда шла только вверх. В основе всех его расчетов лежала уверенность в победе, и он всегда побеждал – в импорте и экспорте, в производстве, в любых начинаниях, сулящих выгоду. Деньги любили Генри. Они липли к нему, как маленькие восторженные щенки. К 1800 году он стал богатейшим жителем Филадельфии и одним из трех богатейших людей в Западном полушарии.

И когда в том году у Генри родилась дочь, Альма, – а это случилось всего через три недели после смерти генерала Вашингтона, – она стала отпрыском совершенно нового и прежде неизвестного человеческого вида: новоиспеченного влиятельного американского нувориша.



Dicranaceae / Dicranum.

Часть вторая

Сливка из «белых акров»

Глава пятая

Она была дочерью своего отца. О ней говорили так с самого рождения. Во-первых, Альма Уиттакер была вылитый Генри: рыжие волосы, румяное лицо, маленький рот, широкий лоб и крупный нос. Это обстоятельство было для Альмы скорее неудачным, хотя она поняла это лишь много лет спустя. Ведь лицо, как у Генри, куда больше подходило взрослому мужчине, чем маленькой девочке. Впрочем, Генри не возражал против такого положения дел; Генри Уиттакеру нравилось видеть свое изображение, где бы он его ни встретил (в зеркале, на портрете или в лице ребенка), поэтому при виде Альмы он всегда был доволен.

«Никто не усомнится, чья это дочь!» – хвастал он.

Кроме того, Альма была умна, как он сам. И здорова. Как крепкая маленькая лошадка, она не знала усталости и не жаловалась. Никогда не болела. И была упряма. С той самой минуты, как девочка научилась говорить, она никогда не уступала в спорах. Если бы мать – тот еще кремень – не проявила непреклонность и не выбила бы из нее всю дерзость, Альма вполне могла бы вырасти откровенной грубиянкой. Но благодаря матери выросла всего лишь напористой. Ей хотелось понять мир, и она выработала привычку исследовать все факты досконально, будто от этого зависела судьба всех людей. Ей необходимо было знать, почему пони – не маленькая лошадь. Она должна была знать, почему, когда проводишь рукой по простыне теплым летним вечером, рождаются искры. Ей нужно было знать, принадлежат ли грибы к растительному или животному миру, – и, даже получив ответ, она допытывалась, *почему так, а не иначе*.

Родители Альмы как нельзя лучше подходили для удовлетворения ее любопытства: при условии, что ее вопросы были сформулированы уважительно, на них всегда отвечали. Генри Уиттакер и его жена Беатрикс оба не терпели тупоумия и поощряли в дочери исследовательский дух. Даже вопрос о грибах удостоился серьезного ответа (от Беатрикс, которая процитировала слова великого шведского ботаника-систематика Карла Линнея о том, как отличить минералы от растений, а растения от животных: «Камни растут. Растения растут и живут. Животные растут, живут и чувствуют»). Беатрикс не показалось, что четырехлетняя девочка слишком мала, чтобы дискутировать о Линнее. Напротив, Беатрикс взялась за образование Альмы, как только та научилась сидеть. Она считала, что, раз другие дети учатся шепелявить молитвы и катехизис, как только начинают говорить, ребенок из семьи Уиттакеров уж верно научится чему угодно.

В результате Альма умела считать, не достигнув и четырех лет, и знала счет на английском, голландском, французском и латыни. Важность обучения латыни подчеркивалась особо, ведь Беатрикс Уиттакер считала, что человек, не знающий латыни, в жизни не освоит английского правописания. С малых лет Альма баловалась и древнегреческим, хоть этот предмет и не считался архиважным. (Даже Беатрикс соглашалась, что раньше пяти лет за древнегреческий браться не стоит.) Беатрикс сама учила свою способную дочь, и делала это с удовольствием. Нет оправдания тому родителю, который самолично не научил своего ребенка думать, считала она. Беатрикс также придерживалась мнения, что со второго века нашей эры интеллектуальные способности человечества неуклонно деградировали, поэтому ей было приятно учредить прямо тут, в Филадельфии, небольшой афинский лицей, единственной воспитанницей которого стала ее дочь.

Домоправительнице Ханнеке де Гроот казалось, что юный мозг Альмы, возможно, чрезмерно перегружен столь насыщенной учебной программой, однако Беатрикс ничего не желала слышать. «Не глупи, Ханнеке, – отругала ее она. – Еще ни одной смысленной девочке, которая не голодает и абсолютно здорова, не повредило *слишком много знаний!*»

Беатрикс предпочитала практичность бессодержательности и обучение развлечению. Она с подозрением относилась ко всему, что другой назвал бы невинной забавой, и презирала глупости и мерзости. К глупостям и мерзостям, по ее мнению, относились: пивные, нарумяненные женщины, дни выборов (когда всегда можно было ожидать, что толпа станет неуправляемой), употребление мороженого и посещение кафе-мороженого, англиканцы (которых она считала теми же католиками, а религию их – противоречащей морали и здравому смыслу), чай (добропорядочные голландки пили кофе, и только кофе), люди, разъезжающие зимой на санях, не навесив на лошадей колокольчик (так не слышно, что они едут сзади!), дешевые слуги (сэкономить, да потом проблем не оберешься), люди, платившие слугам ромом, а не деньгами (приумножая тем самым алкоголизм в обществе), люди, приходившие пожаловаться на проблемы, но после отказывающиеся слушать здравый совет, празднование Нового года (он все равно наступит, звени в колокольчик, не звени), аристократы (благородные звания следует выдавать за соответствующее поведение, а не получать по наследству) и дети, которых слишком много хвалят (послушание должно быть нормой, и награждать тут не за что).

Она верила в девиз *Labor ipse Voluptas* – труд сам по себе награда. Верила, что люди с врожденным чувством собственного достоинства не вовлекаются в эмоции и равнодушны к ним, точнее, даже считала, что равнодушие к эмоциям и чувство собственного достоинства суть одно и то же. Но больше всего Беатрикс Уиттакер верила в порядочность и мораль, хотя, если ее заставили бы выбирать между ними, она бы выбрала порядочность.

И всему этому она стремилась научить свою дочь.

* * *

Что до Генри Уиттакера, в обучении классическим предметам помощи от него ждать было нечего, но он одобрял попытки Беатрикс дать Альме образование. Для Генри, умного, но необразованного ботаника, древнегреческий и латынь всегда были двумя железными столпами, закрывающими вход в мир знаний, и он не хотел, чтобы его дочь столкнулась с теми же препятствиями. Он вообще не хотел, чтобы его дочь столкнулась с препятствиями – любыми.

Чему же научил Альму Генри? Собственно, ничему. Точнее, *напрямую* он ничему ее не научил. Ему не хватало терпения, чтобы давать уроки, и он не любил, когда дети осаждали его расспросами. Но Альма много чему научилась у отца *опосредованно*. Во-первых, она научилась ему не досаждать, и это был самый важный урок. Ведь стоило ей вызвать раздражение отца, как ее тут же выставляли из комнаты, и уже с появлением первых проблесков сознания она усвоила, что Генри нельзя сердить и провоцировать. Для Альмы это оказалось непросто, ведь ради этого ей пришлось затоптать все свои природные инстинкты (призывавшие ее сердить и провоцировать, сердить и провоцировать!). Впрочем, она узнала, что отец иногда не прочь услышать от дочери серьезный, интересный и внятный вопрос – при условии, что она не станет прерывать его ответ или (что было гораздо сложнее) ход его мыслей. Порой ее вопросы, кажется, даже его забавляли, хоть она и не всегда могла понять причину, – скажем, однажды она полюбопытствовала, с чего это боров так долго взбирается на спину леди хрюшки, когда у быка с коровами это выходит вмиг. Услышав этот вопрос, Генри расхохотался. Альма не любила, когда над ней смеялись. И поняла, что такие вопросы никогда не стоит задавать дважды.

Еще Альма поняла, что отец может сорваться на рабочих, гостей, жену и дочь, даже на лошадей, но в присутствии растений терпение его не покидало. С растениями он был добр и великодушен. По этой причине Альме иногда хотелось стать растением. Вслух об этом желании

она никогда не говорила, ведь все бы подумали, что она дурочка, а от Генри она узнала, что нельзя выставлять себя дурочкой никогда в жизни. «Мир – сборище дураков, которые только и ждут, чтобы их облапошили», – часто говаривал он, и дочь его четко усвоила, что между идиотами и умными людьми лежит огромная пропасть и всегда стоит приземляться на стороне умных. К примеру, желать того, чего у тебя никогда не будет, не умно.

От Генри Альма узнала, что в мире есть далекие края, куда люди уезжают и никогда не возвращаются, но ее отец был в этих краях и *вернулся*. (Ей нравилось думать, что он вернулся ради нее, чтобы быть ее папой, хотя вслух она подобное предположение высказать так и не осмелилась.) Она узнала, что Генри смог объехать весь мир и выжить, потому что был храбрым. И что он хочет, чтобы она тоже была храброй, даже в самых тревожных ситуациях – например, когда гремит гром или за ней гонятся гуси, река Скулкилл разливается или она видит обезьяну с цепью на шее, которая ездит в тележке жестянщика. Генри не разрешал Альме бояться таких вещей. А прежде чем она толком поняла, что такое смерть, запретил ей бояться и смерти.

«Люди каждый день умирают, – сказал он ей. – Но шанс, что это окажешься ты, – восемь тысяч против одного».

Она узнала, что бывают недели – в особенности дождливые недели, когда тело ее отца причиняет ему боль, которую не должен терпеть ни один христианин. Из-за плохо зажившего перелома одна нога мучила его беспрерывно; он страдал приступами лихорадки, которой заболел в тех далеких и опасных краях на другом конце света. Порой Генри по полмесяца не поднимался с постели. Альма знала, что в это время его ни в коем случае нельзя беспокоить. Даже письма следует приносить, ступая тихо. Из-за болезни Генри не мог больше никуда ездить и потому стал приглашать весь мир к себе. Так и вышло, что в «Белых акрах» всегда было так много гостей, а в гостиной и за обеденным столом обсуждалось так много деловых вопросов. По этой же причине у Генри работал человек по имени Дик Янси, устрашающего вида йоркширец с лысым черепом и глазами-ледышками, который путешествовал по миру, представляя интересы Генри, и наводил порядок от имени компании Уиттакера. Альма усвоила, что с Диком Янси говорить нельзя.

Еще она узнала, что ее отец не посещает службу, хоть на его имя и была зарезервирована лучшая отдельная скамья в Шведской лютеранской церкви, куда ходили по воскресеньям Альма с матерью. Надо сказать, что мать Альмы не испытывала к шведам особой симпатии, но, поскольку в окрестностях не было голландской реформатской церкви, шведы были лучше, чем ничего. Они, по крайней мере, понимали основной постулат кальвинизма, гласивший, что мы сами несем ответственность за свои жизненные обстоятельства и, скорее всего, обречены, а будущее не несет ничего хорошего. Это было все, что Беатрикс знала и в чем находила утешение. Лучше, чем другие религии с их ложными и наивными обещаниями.

Альма мечтала о том, чтобы не ходить в церковь; по воскресеньям ей хотелось бы быть дома, как делал отец, и ухаживать за растениями. В церкви было скучно, неуютно и пахло табачными плевками. Летом в открытую входную дверь иногда забредали индюшки и собаки в поисках тени в невыносимый зной. Зимой в старинном каменном здании стоял лютый холод. И когда сквозь высокое окно с волнистыми стеклами проникал луч света, Альма подставляла ему лицо и мечтала, что выберется по нему наружу, как тропическая лиана в одном из отцовских парников.

Отец Альмы не любил церковь, это верно, но частенько призывал Всевышнего, чтобы Тот проклял его врагов. Что до прочих вещей, к которым Генри не питал симпатии, их было много, и Альма все их заучила. Она знала, что отец презирает взрослых мужчин, которые заводят маленьких собачек. Он также презирал людей, которые покупают быстрых лошадей, но не умеют на них ездить. Кроме того, он не терпел лодок, на которых катаются для развлечения, землемеров, тесную обувь, французский язык, кухню и самих французов, нервных клерков, крошечные фарфоровые блюдечки, которые трескались в его руке, стихи (но не песни!),

сутулые спины трусов, шлюхиных сыновей-воришек, лживые языки, звуки скрипки, армию (любую), тюльпаны («зарвавшиеся луковицы!»), голубых соек, привычку пить кофе («будь проклят этот грязный голландский обычай!») и – хоть Альма пока и не понимала значения двух этих слов – рабство и аболиционистов, причем в равной степени.

Генри Уиттакер мог быть вспыльчивым. Он мог оскорбить и унижить Альму быстрее, чем иной человек застегивал жилет («Никто не любит глупых и самовлюбленных маленьких поросят!»), но были моменты, когда ей казалось, что он действительно испытывает к ней нежность, а иногда и гордится ею. Однажды в «Белые акры» явился незнакомец, желавший продать Генри пони, чтобы Альма научилась на нем кататься. Пони звали Соамс, был он цвета сахарной глазури, и Альма сразу его полюбила. Стали договариваться о цене. Двое мужчин сошлись на трех долларах. Альма, которой тогда было всего шесть лет, спросила:

– Прошу прощения, сэ, но включает ли эта цена также уздечку и седло, которые в данный момент на пони?

Незнакомец оторопел, услышав этот вопрос, а Генри громко расхохотался.

– Попался, дружище! – проревел он и весь остаток дня трепал Альму по голове, когда она оказывалась поблизости, и повторял: – Смекалистый маленький делец у меня растет!

Альма также узнала, что по вечерам ее отец пьет из бутылок и содержимое этих бутылок может быть опасным (он повышает голос и выгоняет ее из комнаты), но может таить чудеса – к примеру, он может разрешить ей сесть к себе на колени, и там ей расскажут фантастические истории, а еще может назвать ее ласковым именем, как ее называли крайне редко: Сливка. В такие вечера Генри мог сказать ей, к примеру, такое:

– Сливка, всегда носи на себе достаточно золота на случай похищения, чтобы выкупить свою жизнь. Зашей монеты в платье, если нужно, но никогда не выходи из дому без денег!

Генри рассказал, что бедуины в пустыне иногда зашивают себе под кожу драгоценные камни как раз на такой крайний случай. И у него самого в обвислых складках живота зашит изумруд из Южной Америки, а те, кто не знает, думают, что это шрам от огнестрельной раны. Ей он никогда не покажет, но изумруд там.

– У тебя всегда должен быть последний шанс откупиться, Сливка, – говорил он.

Сидя на коленях у отца, Альма узнала, что он совершил кругосветное плавание с человеком по имени капитан Кук. Эти истории были интереснее всего. Однажды на поверхность океана поднялся гигантский кит с открытой пастью, и капитан Кук направил свой корабль прямо в нутро кита, осмотрелся в его брюхе, а потом выплыл наружу – задом наперед! А в другой раз Генри услышал в море плач и увидел русалку, дрейфовавшую в океанских волнах. Ее укусила акула. Генри вытянул ее веревкой, и она умерла у него на руках. Но прежде благословила его именем Бога и поклялась, что в один прекрасный день он разбогатеет! Так у него и появился этот большой дом. Все русалка наколдовала!

– А на каком языке говорила русалка? – поинтересовалась Альма, хотя была почти уверена, что на древнегреческом.

– На английском! – ответил Генри. – Сливка, да на кой черт мне спасать какую-то чужеземную русалку?

Альма восхищалась своей матерью и иногда боялась ее, но отца обожала. Его она любила больше всего на свете. Даже больше своего пони Соамса. Ее отец был колоссом, а она смотрела на мир из-за его громадных ног и дивилась. В сравнении с Генри Бог из Библии казался скучным и равнодушным. Как Бог из Библии, Генри иногда подвергал любовь Альмы испытаниям, особенно после того, как откупоривал одну из бутылок.

– Сливка, – говорил он, – а сбегай-ка ты на пристань так быстро, как только смогут твои тонкие ножки, и погляди, не пришли ли папины корабли из Китая!

До пристани было семь миль через реку. Но даже в девять часов вечера в воскресенье в колючий ледяной мартовский дождь Альма вскакивала с отцовских колен и бежала. У двери

ее ловила служанка и несла обратно в гостиную, иначе, Бог свидетель, Альма бы убежала, хоть ей было шесть лет и при ней не было ни плаща, ни шляпки, ни пенни в кармане, ни золотой монетки, зашитой в платье.

* * *

Что у нее было за детство!

Мало того что ей достались столь упорные и умные родители, вся территория «Белых акров» была в ее распоряжении. И поистине это был рай на лоне природы. Какой простор для изучения! В одном лишь доме чудеса ждали за каждой дверью. В восточном павильоне стояло неуклюжее чучело жирафа с комичной настороженной мордой. На парадном крыльце лежали три гигантских ребра мастодонта, откопанные на соседнем поле, – Генри выменял их у местного фермера на новую винтовку. Еще в доме был балльный зал, пустой, с сияющим начищенным полом, где однажды холодной поздней осенью Альма нашла залетевшую с улицы колибри – та пронеслась мимо ее уха, описав совершенно удивительную траекторию (и напомним Альме сверкающий снаряд, выпущенный из крошечной пушки). В кабинете ее отца в клетке жила майна¹², привезенная из самого Китая; она разговаривала с пылкой красноречивостью (по крайней мере, так утверждал Генри), но лишь на родном языке. Еще там были редкие змеиные кожи, для сохранности обложенные сеном и опилками. А на полках стояли кораллы из южных морей, фигурки божков с Явы, древнеегипетские украшения из лазурита и запылившиеся турецкие альманахи.

А сколько в «Белых акрах» было мест, где можно было поесть! Обеденный зал, гостиная, кухня, салон, кабинет, солярий, веранды в окружении тенистых деревьев! Там они завтракали чаем с имбирным печеньем, каштанами и персиками. (И какие это были персики! Розовые с одного бока, а с другого – золотые!) А зимой можно было пить бульон наверху, в детской, глядя на реку под окном – та сверкала под серым небом, как полированное зеркало.

На улице ждало еще больше приключений. Там располагались царственные оранжереи, где росли саговники, пальмы и папоротники, обсыпанные глубоким слоем черной вонючей мульчи, сохранявшей тепло. Еще там была шумная поливалка, поддерживающая в оранжереях влажность, которую Альма боялась. Загадочные теплицы для рассады, где всегда стояла обморочная жара и куда приносили нежные растения, приехавшие из чужих краев, чтобы те окрепли после долгого океанского путешествия; там же садовники умением и хитростью заставляли орхидеи цвести. Еще в оранжерее были лимонные деревья; летом их, как чахоточников, выкатывали на улицу, греться на естественном свете. А в конце дубовой аллеи стоял маленький греческий храм, где можно было играть в Олимп.

Еще в «Белых акрах» была сыроварня, а рядом с ней – маслодельня; Альму эти два места притягивали, так как там царили магия, суеверия и колдовство. Немки молочницы чертили на двери маслодельни шестиугольники от сглаза, а прежде чем войти, бормотали заклинания. Сыр не затвердеет, учили они Альму, если дьявол наложит на него проклятие. Когда Альма спросила Беатрикс, так ли это, та отругала ее, назвав простодушной девчонкой, и прочла долгую лекцию о процессе отвердевания сыров, в основе которого лежала химическая реакция между свежим молоком и сывороткой, в которой не было совершенно ничего сверхъестественного, а также созревание в восковых формах при устойчивой температуре. Закончив урок, Беатрикс пошла и стерла знаки с двери маслобойни и сделала выговор молочницам, обозвав их суеверными простушками. Но Альма заметила, что на следующий день знаки появились снова. И не случилось такого, чтобы сыр не застыл, что бы ни было тому причиной.

¹² Род птиц семейства скворцовых.

В распоряжении Альмы также были бесконечно тянущиеся дремучие акры лесных земель, которые нарочно не возделывали. Там водились кролики, лисы и ручные олени, которые ели прямо с рук. Родители разрешали Альме – да не просто разрешали, а поощряли ее – бродить по этим просторам сколько угодно с целью изучения природного мира. Она коллекционировала жуков, пауков и мотыльков. Однажды видела, как большую полосатую змею съела заживо другая змея, черная, гораздо больше первой, – это заняло несколько часов; зрелище было ужасное, но впечатляющее. Альма смотрела, как тигровые пауки роют в земле глубокие тоннели, а малиновки тащат мох и глину для гнезд с речного берега. Она решила удочерить симпатичную маленькую гусеницу (симпатичную настолько, насколько вообще гусеницы могут быть симпатичными) и завернула ее в лист, чтобы отнести домой, но случайно села на него и раздавила свою питомицу. Это стало для нее сильным ударом, но она знала: надо жить дальше. Иногда животные умирают. Некоторые из них – например, овцы и коровы – вообще рождаются *лишь для того, чтобы умереть*. Нельзя плакать над каждой мертвой зверушкой. К восьми годам Альма под руководством Беатрикс уже провела вскрытие поросычьей головы.

Альма всегда отправлялась на прогулки в самом удобном платье, вооружившись персональным набором коллекционера, состоявшем из стеклянных флаконов, маленьких коробочек, ваты и различных блокнотов. Она гуляла в любую погоду, так как всегда находила, чем порадовать себя. Однажды в конце апреля разразилась снежная буря, принеся с собой странный хоровод звуков: певчие птицы и колокольчики. Только ради этого стоило выйти из дома. Вскоре Альма поняла, что, если ступать по грязи осторожно, стараясь не запачкать ботинки или подол платья, ничего интересного не отыщешь. Ее никогда не ругали за то, что она возвращалась в грязной обуви, если при этом ее личный гербарий пополнялся стоящими образцами.

Пони по имени Соамс стал ее постоянным спутником в лесных вылазках; иногда она ехала на нем по лесу верхом, иногда он следовал за ней, как большая воспитанная собака. Летом Соамсу на уши надевали великолепные шелковые кисточки, чтобы ему не досаждали мухи. Зимой под седло подкладывали мех. Если не считать того, что изредка Соамс ел образцы из гербария, лучшего спутника для ботаника-коллекционера нельзя было и представить, и Альма говорила с ним весь день. Ради нее он был готов на все, только быстро бегать не соглашался.

В девятое лето, глядя, как распускаются и закрываются бутоны, Альма Уиттакер сама научилась определять время. Она заметила, что в пять утра распускается козлобородник. В шесть раскрываются бутоны маргариток и купальниц. Когда часы отбивают семь, расцветают одуванчики. В восемь наступает очередь сочного алого цвета. В девять – звездчатки. В десять – безвременника. А после одиннадцати бутоны начинают захлопываться в обратном порядке. В полдень закрывается козлобородник. В час – звездчатка. К трем часам складывают лепестки одуванчики. А если к пяти, когда закрываются купальницы и зацветает примула вечерняя, Альма не была дома с вымытыми руками, ее ждали неприятности.

Больше всего Альме хотелось знать, как устроен мир. Что за главный механизм всем управляет? Она разбирала цветы на лепестки, исследуя их мельчайшие составляющие. То же самое делала и с насекомыми, и с трупиками зверей, которые находила. Однажды утром в конце сентября она, к восторгу своему, вдруг увидела цветущий крокус – растение, которое, как она считала, цветет лишь весной. Вот это было открытие! Добиться удовлетворительного ответа на вопрос, с какой стати этим цветам вдруг вздумалось распуститься в начале осени, когда уже холодно и у них нет листьев и какой-либо защиты, а все кругом умирает, ей так ни у кого и не удалось. «Это осенние крокусы», – заявила Беатрикс. Ну да, очевидно, это так – но почему? Зачем они цветут сейчас? Они глупые цветы, что ли? Не знают, какое сейчас время? Какую такую важную миссию выполняет этот крокус, что готов страдать и раскрывать бутоны в первые ночи колючих заморозков? Никто не смог ей это объяснить. «Это не более чем проявление природного разнообразия», – сказала Беатрикс, но Альма нашла ее ответ на редкость неудо-

влетворительным. Когда же она стала наседать, Беатрикс проговорила: «Не на все вопросы есть ответ».

Альма нашла эту мысль столь необъятной, что несколько часов не могла прийти в себя. Она могла лишь сидеть и размышлять над этим, впад в подобие полнейшего ступора. Когда же чувства к ней вернулись, она зарисовала таинственный осенний крокус в своем блокноте, а рядом записала дату, свои вопросы и возражения. Альма вела записи крайне прилежно. Все необходимо отмечать, даже вещи, которым не находишь объяснения. Беатрикс научила ее всегда зарисовывать свои находки как можно точнее, по возможности верно указывая место данного вида в общепринятой классификации.

Альме нравилось делать наброски, но законченный рисунок иногда ее разочаровывал. Она не умела рисовать лица и животных (даже бабочки у нее выходили грубовато), хотя в конце концов пришла к выводу, что *не совсем безнадежна* в том, что касается зарисовок растений. В числе ее первых успехов были неплохие наброски зонтичных – представителей того же семейства, что и морковь, с полыми стеблями и плоскими соцветиями. Ее рисунки зонтичных были точными, но ей бы хотелось, чтобы они были не просто точными, – ей хотелось, чтобы они были *красивыми*. Она сказала об этом матери, и та заметила: «Красота здесь ни к чему. Красота – помеха точности».

Иногда в прогулках по лесу Альме встречались другие дети. Они всегда ее настораживали. Она знала, кто эти нарушители, хотя никогда с ними не разговаривала. Строго говоря, нарушителями они не были – это были дети людей, которые работали на ее родителей. Поместье «Белые акры» было огромным живым зверем, и половину его гигантского чрева занимали слуги – садовники из Германии и Шотландии, которых ее отец предпочитал местным ленивым американцам, и горничные, которые, по настоянию матери, должны были быть голландками, так как на них можно положиться. Домашние слуги жили в мансарде, а уличные рабочие – в коттеджах и пристройках, разбросанных по всей территории; они делили их между собой. Пристройки эти выглядели весьма симпатично – не потому, что Генри заботился об удобстве своих слуг, а потому, что ему был невыносим вид запустения. У некоторых из слуг были дети, и их-то Альма и встречала в лесу, к своему страху и ужасу. Но со временем у нее появился свой метод пережить эти встречи: она делала вид, что ничего не происходит. Она проезжала мимо детей на пони (который, как и всегда, шел медленным беспечным шагом, со скоростью густой холодной патоки). А поравнявшись с ними, задерживала дыхание и старалась не смотреть ни влево, ни вправо, пока нарушители не оставались позади на безопасном расстоянии. Если она их не видит, думала она, можно поверить, будто их не существует.

Дети прислуги боялись Альму не меньше, чем она их. Они никогда к ней не приближались. Возможно, их предупредили, чтобы они ее не трогали. Все боялись Генри Уиттакера, и, видимо, этот страх автоматически распространялся и на его дочь. Но иногда, отойдя на безопасное расстояние, Альма шпионила за этими детьми. Их игры были примитивны и непонятны ей. Они одевались совсем не так, как Альма. Никто из них не носил на плече набора для коллекционирования гербариев, и никто не ехал на пони с разноцветными шелковыми кисточками, как Альма. Эти дети кричали друг на друга, выражаясь грубо. Альма боялась этих детей больше всего на свете. Они часто снились ей в кошмарах.

Но для борьбы с кошмарами у нее было средство: она вставала и искала Ханнеке де Гроот, которая жила в погребе. Иногда это помогало и успокаивало ее. Ханнеке де Гроот, старшая над слугами, заправляла всей вселенной «Белых акров», и власть наделяла ее аурой спокойной незыблемости. Ханнеке спала в личных покоях рядом с подвальной кухней; там, внизу, огонь в очаге никогда не гас. Она жила в облаке теплого подземельного воздуха, пропитанного солеными окороками, свисавшими со всех стропил. Ханнеке жила в клетке – так, по крайней мере, казалось Альме, так как в покоях Ханнеке на окнах и дверях были решетки, ведь именно Ханнеке знала, где хранится серебро и фарфор, и выдавала жалованье всему штату слуг.

«Я не в клетке живу, – как-то поправила она Альму, – а в банковском сейфе».

Когда Альме не спалось из-за кошмаров, она иногда собиралась с духом и предпринимала спуск по темной лестнице, хоть ей и было страшно; преодолев три пролета, она оказывалась в самом нижнем углу погреба и там, вцепившись в решетку, отгораживавшую покои Ханнеке, кричала, чтобы ее выпустили. Исход подобных вылазок всегда был непредсказуем. Бывало, Ханнеке вставала, сонная и недовольная, и отпирала дверь своей темницы, разрешив Альме лечь к себе в кровать. Но иногда Альме никто не открывал. Порой Ханнеке ругала ее, говорила, что та уже не маленькая, и спрашивала, с какой стати она донимает старую, измученную голландку, а потом заставляла Альму подниматься назад в детскую по страшной темной лестнице.

Но в тех редких случаях, когда Ханнеке все же пускала ее в свою постель, это стоило остальных десяти, когда ее прогоняли, ведь Ханнеке рассказывала ей истории, а сколько всего она, Ханнеке, знала! С матерью Альмы они были знакомы сто лет, с самого раннего детства. Ханнеке рассказывала об Амстердаме такое, чего сама Беатрикс никогда бы не рассказала. И всегда говорила с Альмой только на голландском, поэтому голландский для Альмы навеки стал связан с уютом и банковскими сейфами, солеными окороками и безопасностью.

Альме ни разу не пришлось в голову бежать ночью за утешением к матери, чья спальня была за стеной.

* * *

А еще в «Белые акры» приезжали гости – непрерывная процессия гостей, прибывающих почти каждый день в повозках, верхом, по реке или пешком. Отец Альмы страшно боялся заскучать, вот и приглашал людей к обеденному столу, чтобы те развлекли его, поведали новости со всего мира или поделились идеями для новых предприятий. Генри Уиттакеру стоило лишь позвать кого-нибудь в гости, и те приезжали, причем говорили ему за это спасибо.

«Чем больше у тебя денег, – объяснил он Альме, – тем вежливее становятся люди. Удивительно!»

К тому времени денег у Генри была уже целая куча. В мае 1803 года он заключил контракт с человеком по имени Израэль Уэлен, чиновником, который заведовал медицинским обеспечением экспедиции Льюиса и Кларка по Америке. Генри предоставил экспедиции обширные запасы ртути, лауданума, ревеня, опиума, корня каролинской фразёры, каломели, рвотного корня, свинца, цинка и соли серной кислоты; лишь некоторые из этих снадобий действительно могли пригодиться для лечения, но все без исключения были товаром прибыльным. В 1804 году немецкие фармацевты впервые выделили из мака морфий, и Генри одним из первых вложил деньги в производство этого эффективного средства. В следующем году он заключил контракт на поставки медикаментов для американской армии. Теперь он пользовался определенной долей политического влияния и доверием в обществе, поэтому гости и стекались на его ужины.

Эти ужины ни в коем случае нельзя было назвать великосветскими приемами. Уиттакеров так и не приняли в узкий и избранный круг – филладельфийский высший свет; впрочем, они и не пытались туда попасть. После приезда в город Уиттакеров всего раз пригласили отужинать у Анны и Уильяма Бингемов на углу Третьей и Еловой улиц, но визит прошел неудачно. Когда подали десерт, миссис Бингем, которая держалась так, будто дело было при дворе в королевской резиденции, обратилась к Генри:

– А что за фамилия – Уиттакер? Довольно редкая.

– Родом из английских центральных графств, – отвечал Генри. – Происходит от слова «Уорикшир».

– Значит, ваше родовое поместье в Уорикшире?

– Там... и еще много где. Мы, Уиттакеры, везде поместимся, куда влезем.

– Но ведь у вашего отца все еще есть владения в Уорикшире, так, сэръ?

– Владения моего отца, мадам, коли он еще не сдох, – две свиньи да ночной горшок под кроватью. А вот на саму кровать, боюсь, он так и не накопил.

Больше Уиттакеров отужинать с Бингемами не приглашали. Но их это не слишком огорчило. Беатрикс не одобряла светские беседы и наряды модных дам, а Генри тяготили занудные манеры обитателей Риттенхаус-сквер¹³. Вместо этого Генри создал свое общество на другом берегу реки, в своем доме на холме. За столом в «Белых акрах» не обменивались сплетнями, а упражнялись в интеллектуальных играх и коммерческой смекалке. И если в мире был человек, занимавшийся каким бы то ни было интересным делом, Генри желал видеть его у себя. Случись так, что в Филадельфии гостил заезжий старый философ, великий ученый или дерзкий юный изобретатель, их тоже приглашали. Иногда здесь бывали и женщины, но только если им посчастливилось быть супругами великих ученых, переводчицами важных трудов или интересными актрисами, совершающими турне по Америке.

Не всякому был по плечу ужин у Генри. Стол ломился от яств – там были и устрицы, и бифштекс, и фазаны, – но времяпровождение в «Белых акрах» отнюдь не всегда было приятным, и Альма убедилась в этом, когда еще ходила пешком под стол. Гостей здесь подвергали дотошным расспросам, провоцировали, их мнения оспаривали. Людей, бывших не в ладах друг с другом, сажали рядом. В беседах за столом, больше напомилавших боксерский ринг, чем вежливое общество, посягали на самое святое. Кое-кто из гостей покидал «Белые акры» с чувством, что ему нанесли страшное оскорбление. Другие – более умные, толстокожие или более отчаянно нуждавшиеся в покровительстве – уезжали, заключив прибыльные контракты, вступив во взаимовыгодное сотрудничество или просто получив необходимое рекомендательное письмо к какой-нибудь важной шишке. Обеденный зал в «Белых акрах» был опасным полем для игр, но победа могла обеспечить гостю карьеру на всю жизнь.

Альма была желанным гостем этих застольных войн с четырех лет, и ее часто сажали рядом с отцом. Ей разрешали задавать вопросы, но только не глупые. Некоторых гостей ей даже удалось очаровать. К примеру, эксперт по симметрии молекул однажды заявил: «Да ты умна, как энциклопедия!» Его комплимент запомнился Альме на всю жизнь. Но другие великие ученые не привыкли, чтобы их допрашивали маленькие девочки. Правда, как заметил Генри, если некоторые великие ученые не способны были отстоять свои теории перед маленькой девочкой, то вполне заслуживали самого позорного разоблачения.

Генри верил – и Беатрикс всячески его в этом поддерживала, – что ни один предмет, сколько бы серьезным, сложным или шокирующим он ни был, нельзя посчитать неподходящим для обсуждения в присутствии их дочери. Беатрикс рассуждала так: даже если Альма не поймет, о чем речь, это лишь побудит ее дальше развивать свой интеллект, чтобы в следующий раз не остаться в стороне от обсуждения. Если же у Альмы не находилось добавить ничего умного, Беатрикс научила ее улыбаться последнему высказавшемуся и вежливо и тихо произносить: «Прошу вас, продолжайте». Случись ей заскучать за столом, это никого не волновало. Ужины в «Белых акрах» затевались не для того, чтобы развлекать детей (по правде, Беатрикс Уиттакер считала, что в жизни вообще *ничего* не стоит затевать ради того, чтобы развлекать детей), просто Беатрикс придерживалась мнения, что чем скорее Альма научится сидеть на жестком стуле на протяжении нескольких часов подряд и внимательно слушать разговоры, неподвластные ее пониманию, тем для нее лучше.

Так и вышло, что Альма Уиттакер провела свои ранние детские годы, слушая удивительные рассказы самых разных людей: и тех, кто изучал особенности разложения человеческих останков; и тех, кто задумал наладить импорт новых превосходных бельгийских пожарных шлангов в Америку; и тех, кто делал иллюстрации самых чудовищных уродств для медицин-

¹³ Квартал в Филадельфии, застроенный особняками.

ских энциклопедий; и тех, кто полагал, что любое лекарство, которое можно проглотить, с аналогичным эффектом можно втирать в кожу и оно, впитавшись, принесет облегчение; и тех, кто исследовал органическое вещество в сероводородных источниках... Альма однажды даже познакомилась с экспертом по легочной функции водоплавающих птиц (предмет, по его словам, куда более захватывающий, чем любой другой в мире, хотя, если судить по его зануднейшему докладу за столом, это было не совсем так).

Надо сказать, что порой эти ужины действительно становились для Альмы развлечением. Больше всего ей нравилось, когда к ним в гости приезжали актеры и первооткрыватели и рассказывали захватывающие истории. Нередки были и вечера, когда за столом велись напряженные споры. А порой ужин превращался в пытку и навевал нескончаемую скуку. Бывало, девочка засыпала за столом с открытыми глазами, держась на стуле прямо лишь потому, что жутко боялась материнского порицания, и благодаря жесткому корсету нарядного платья. Но один вечер Альма запомнила навсегда – потом он стал казаться ей самым прекрасным моментом ее детства, – вечер, когда в «Белые акры» приехал итальянский астроном.

* * *

Это случилось в конце лета 1808 года, именно тогда Генри Уиттакер купил новый телескоп. Любуясь ночным небом через превосходные новые немецкие линзы, он почувствовал себя профаном в астрономии. Конечно, Генри знал звездное небо, как положено мореплавателю, то есть совсем неплохо, но был не осведомлен о последних открытиях. Ведь в изучении астрономии в то время происходили огромные сдвиги, и ночное небо все чаще представлялось Генри очередной библиотекой, книги из которой давались ему с трудом. Поэтому, когда великий итальянский астроном Марианетти прибыл в Филадельфию, чтобы выступить с лекцией в Философском обществе, Генри заманил его в «Белые акры», закатив бал в его честь. Он слышал, что Марианетти души не чает в танцах, и решил, что перед приглашением на бал тот точно не устоит.

Этот бал должен был стать самым роскошным приемом, который когда-либо устраивали Уиттакеры. После обеда в поместье прибыли лучшие в Филадельфии кулинары – негры в крахмальной белой форме – и принялись водружать друг на друга ярусы воздушных меренг и смешивать разноцветные пунши. Тропические цветы, что никогда раньше не покидали пределов теплых оранжерей, расставили в кадках по всему дому. Затем в бальной зале вдруг замелькали недовольные незнакомцы – музыканты из оркестра; они настраивали инструменты и жаловались на жару. Альму отмыли и упаковали в белые кринолины, а петушиный гребешок непослушных рыжих волос увязали атласным бантом размером почти с ее голову. Потом приехали гости – напудренные, нарядные, окутанные волнами шелка.

Было жарко. Зной стоял весь месяц, но такого, как в тот день, еще не было. Предвидя неудобства, связанные с погодой, Уиттакеры наметили бал на девять вечера, когда солнце давно уже скрылось, но в воздухе все еще стояла изнуряющая жара. В бальной зале скоро стало, как в теплице, влажно, окна запотели, и тропическим цветам это пришлось по вкусу, но дамам – нет. Оркестранты потели и мучились от духоты. В поисках спасения гости высыпали на улицу и расположились на верандах, прислонившись к мраморным статуям в тщетной надежде, что камень поделится с ними прохладой.

Пытаясь утолить жажду, все выпили куда больше пунша, чем намеревались. И – естественное следствие этого – позабыли о стеснении; всеми овладело легкомысленно-веселое настроение. Оркестранты покинули помпезный бальный зал и шумной толпой расселись на большой лужайке у дома. На улицу вынесли лампы и факелы, и лица гостей озарились неистовыми пляшущими тенями. Великий итальянский астроном попытался обучить филадельфийских джентльменов сложным неаполитанским танцевальным па и не оставил без внимания ни

одной дамы. Все гости нашли Марианетти забавным, дерзким и великолепным. Он даже попытался станцевать с неграми кулиарами, насмешив всех до колик.

В тот вечер Марианетти должен был прочитать лекцию по астрономии, поведав гостям об эллиптических орбитах и скоростях планет и сопроводив ее сложными схемами и рисунками. Но в какой-то момент от этой идеи отказались. Разве может столь разгулявшееся сборище сидеть спокойно и внимать серьезной научной лекции?

Альма так и не поняла, кому пришла в голову эта идея – Марианетти или ее отцу, – однако вскоре после полуночи было решено, что знаменитый итальянский маэстро космологии воссоздаст модель Вселенной на большой лужайке «Белых акров», используя в качестве небесных тел тела самих гостей. Модель будет не совсем достоверной, провозгласил подвыпивший астроном, но хотя бы в общих чертах познакомит дам с жизнью планет и их расположением относительно друг друга.

С потрясающим апломбом ученого и комика Марианетти водрузил Генри Уиттакера – Солнце – в центр лужайки. Затем созвал остальных джентльменов, которые должны были изображать планеты, располагаясь на некотором расстоянии от хозяина сегодняшнего торжества. К безмерному веселью всех собравшихся, Марианетти попытался отобрать мужчин, габаритами напоминавших бы точный размер планет, которыми они являлись. Меркурием стал невысокий, но исполненный достоинства торговец зерном из Джермантауна. Поскольку Венера и Земля должны были быть примерно одного размера, но больше Меркурия, Марианетти выбрал на их роли двух братьев из Делавэра – людей почти одинакового роста, конституции и наружности. На роль Марса необходимо было найти кого-то крупнее торговца зерном, но все же не столь дородного, как братья из Делавэра; известный банкир пришелся как раз кстати. Юпитером Марианетти назначил отставного капитана морского судна, до того комичного толстяка, что одно лишь появление его грузной фигуры в Солнечной системе заставило всех присутствующих зайтись истеричным хохотом. Что до Сатурна, эту роль отлично сыграл чуть менее тучный, но все же забавный пузатый газетчик.

И так продолжалось до тех пор, пока все планеты не заняли свои места во дворе на должном расстоянии от Солнца и друг от друга. Затем Марианетти заставил их кружиться по орбитам вокруг Генри, старательно пытаясь сделать так, чтобы каждый из перебравших джентльменов не сбился с правильной небесной траектории. Вскоре дамы тоже захотели присоединиться к веселой игре, и Марианетти расставил их вокруг мужчин, назначив спутниками, и запустил каждый спутник по собственной узкой орбите. (Матери Альмы досталась роль Луны, которую она сыграла с холодным лунным блеском.) Затем на краю лужайки маэстро воссоздал созвездия из звезд, коими избрал самых прекрасных юных девушек.

Оркестр снова заиграл, и стало казаться, что ансамбль небесных тел исполняет самый великолепный вальс из всех, что когда-либо видели славные жители Филадельфии. В центре всего этого стоял и сиял Генри Уиттакер, король-солнце, с волосами цвета пламени, а вокруг него вращались мужчины, большие и маленькие, в то время как женщины описывали круги вокруг них. В дальних же уголках Вселенной, загадочные, как неизведанные галактики, мерцали созвездия незамужних девушек. Марианетти взобрался на высокую живую изгородь и, пошатываясь и рискуя упасть, дирижировал всей постановкой, выкрикивая в ночи:

– Не теряйте скорость, господа! Дамы, не сходите с траектории!

Альме захотелось к ним. Она еще никогда не видела ничего столь захватывающего. Обычно так поздно ночью девочка всегда была в постели, но сегодня в веселой суматохе о ней как-то забыли, и никто не уложил ее спать. На этом балу она была единственным ребенком – впрочем, всю свою жизнь она была единственным ребенком на подобных сборищах. И вот Альма подбежала к изгороди и крикнула, обращаясь к маэстро Марианетти, который рисковал свалиться вниз:

– И меня поставьте, сэр!

Итальянец прищурился, глядя вниз со своего помоста и пытаясь сфокусировать взгляд: *что это еще за дитя?* Возможно, он не обратил бы на нее внимания, но Генри Уиттакер вдруг проревел из центра Солнечной системы:

– *Найдите девочке место!*

Марианетти пожал плечами.

– Будешь кометой! – крикнул он Альме, продолжая притворяться, будто дирижирует Вселенной одной рукой.

– А что делают кометы, сэр?

– Летают в самых разных направлениях! – ответил итальянец.

И Альма полетела. Разогналась и ринулась в самое скопление планет, пригибаясь и уворачиваясь от них на их орбитах, вертясь и кружась так, что бант в волосах развязался. Стоило ей очутиться рядом с отцом, как он кричал:

– Не так близко, Сливка, а не сгоришь, и от тебя только угли останутся!

И толкал ее прочь от себя, яростного и пылающего, заставляя бежать в другую сторону.

А потом случилось нечто потрясающее – в какой-то момент у девочки в руках оказался горящий факел. Альма не видела, кто ей его дал. Раньше ей никогда не доверяли иметь дело с огнем. Факел плевался искрами и оставлял за собой пылающий смолистый след, а она неслась сквозь космос, который был безбрежен и не двигался по строгой эллиптической орбите.

Ее никто не остановил.

Она была кометой.

И всерьез думала, что летит.

Глава шестая

Детство Альмы – точнее, самый невинный и безоблачный его период – неожиданно закончилось в середине ноября 1809 года, посреди ночи, в самый обычный вторник, который, однако, оказался совсем необычным.

Альма очнулась от крепкого сна, услышав напряженные голоса и звук колес, проехавших по гравии. Там, где в этот час в доме обычно стояла тишина (в коридоре за дверью ее спальни, к примеру, и в покоях слуг наверху), слышались шаги, разбегающиеся во все стороны. Она встала в холодной спальне, зажгла свечу, надела кожаные сапоги и нашла шаль. Инстинкт подсказывал, что в «Белые акры», должно быть, нагрянула какая-то беда и, возможно, требуется ее помощь. Потом, став взрослой, она поняла, как абсурдно было думать так (неужели ей всерьез казалось, что она в силах чем-то помочь?), но тогда она воспринимала себя юной леди десяти лет от роду и питала определенную уверенность по поводу собственной значимости.

Выйдя на верхнюю площадку широкой лестницы, Альма увидела внизу, у парадного входа в их дом, сборище людей с фонарями в руках. В центре стоял отец в пальто поверх ночного платья; лицо его было раздраженным. Мать тоже была там, с волосами, убранными под чепец, и Ханнеке де Гроот... Значит, дело серьезное: домоправительница не любила, когда ее тревожат по ночам без дела, и мать свою Альма в такой час неспящей никогда не видела.

Но было там что-то еще, что сразу привлекло внимание Альмы. Между Беатрикс и Ханнеке стояла маленькая девочка, чуть меньше Альмы, с длинной белокурой косой. Руки обеих женщин лежали на ее худых плечах. Альме показалось, что девочку эту она где-то уже видела. Может, она дочь кого-то из слуг? Точно Альма не знала. Но девочка, кем бы она ни была на самом деле, была очень красива, хоть в свете фонарей ее лицо казалось потрясенным и напуганным.

Однако Альму встревожил не страх на ее лице, а та решимость, с которой Беатрикс и Ханнеке вцепились в ее плечи, как будто оберегая свою собственность. Какой-то мужчина шагнул вперед, словно желая протянуть к ней руку, и Беатрикс с Ханнеке сомкнули ряды, сжав плечи девочки еще крепче. Мужчина отступил. И правильно сделал, подумала Альма, увидев выражение на лице матери: непреклонную свирепость. То же выражение было на лице Ханнеке. Именно при виде этой свирепости на лицах двух самых важных женщин в жизни Альмы ее пронзил необъяснимый ледяной страх: там, внизу, происходило что-то плохое.

В этот момент Беатрикс и Ханнеке одновременно повернули головы и взглянули на лестничную площадку, где молча, уставившись вниз, стояла Альма со свечой в руке и в сапогах. Они повернулись так резко, будто их позвали по имени, и с таким видом, будто их отвлекли от важного дела и им это не понравилось.

– Иди спать, – рявкнули они хором: Беатрикс – по-английски, Ханнеке – по-голландски.

Альма могла бы возразить, но почувствовала себя бессильной перед ними обеими. Ее пугали их суровые, напряженные лица. Она никогда не видела ничего подобного. Было ясно, что она им не нужна. Что бы там ни происходило, какие бы дела ни решались, с ней никто советоваться не собирался.

Альма в последний раз встревоженно взглянула на красивую девочку в центре комнаты, где скопились незнакомые ей люди, и побежала в свою комнату. Целый час она сидела на краю постели, прислушиваясь к звукам, пока у нее не заболели уши, и надеясь, что кто-нибудь придет, объяснит ей все и успокоит. Но голоса стихли, послышался топот удаляющихся копыт, а к ней никто так и не пришел. Наконец Альма упала на подушку и забылась крепким сном, не накрываясь одеялом и так и не сняв свою шаль и тяжелые сапоги. А когда проснулась с утра, ночной толпы незнакомцев в «Белых акрах» как не бывало.

Но девочка осталась.

* * *

Ее звали Пруденс.

Точнее, Полли.

А еще точнее, Полли-Которая-Стала-Пруденс.

История Полли была нелицеприятной. В «Белых акрах» старались сделать так, чтобы она не стала достоянием всех, но подобные истории всегда всплывают, и уже через несколько дней Альма обо всем узнала. Девочка была дочкой управляющего огородом в «Белых Аакрах», молчаливого немца, того самого, кто придумал новую конструкцию теплиц для дынь и принес Генри немалую прибыль. Жена управляющего была родом из Филадельфии, низкого происхождения, но необыкновенной красоты, притом известная блудница. Муж ее, садовник, души в ней не чаял, но приструнить не мог. Это тоже ни для кого не было тайной. Дамочка много лет беспощадно наставляла ему рога, даже не пытаясь скрыть свои похождения. Он же молча терпел – или просто не замечал, или делал вид, что не замечает. А потом вдруг ни с того ни с сего терпение его лопнуло.

В тот самый вторник в ноябре 1809 года посреди ночи садовник разбудил жену, что мирно спала рядом, вытащил на улицу за волосы и вскрыл ей глотку от уха до уха. После чего немедленно повесился на ближайшем вязе. Шум привлек других работников поместья, которые выбежали на улицу посмотреть, в чем дело. И оправившись от вида двух внезапных смертей, нашли маленькую девочку по имени Полли.

Полли была одного возраста с Альмой, но меньше ростом и изящнее; а главное, она была так красива, что захватывало дух. Она была похожа на совершенную маленькую статуэтку, вырезанную из кусочка дорогого французского мыла, которую кто-то украсил глазами из драгоценных камней цвета павлиньего пера. Но ее крошечный алый рот, пухлый, как подушечка, делал ее не просто красивой; он превращал ее в нарушающую покой маленькую соблазнительницу, миниатюрную Вирсавию.

Когда в ночь трагедии Полли привели в «Белые акры» и она предстала перед Беатрикс и Ханнеке в окружении констеблей и здоровенных работников поместья, которые хватили ее своими ручищами, женщины тут же почуяли, что девочке грозит опасность. Некоторые из этих мужчин предлагали отвести дитя в богадельню, но другие уже заявляли о своей готовности лично позаботиться о сиротке. Половина из них сожительствовали с ее матерью, о чем было доподлинно известно Беатрикс и Ханнеке, и им не хотелось думать о том, что ждет эту красивую малышку, это порождение греха.

Не сговариваясь, две женщины вцепились в Полли, вырвали ее из рук толпы и отказались кого-либо к ней подпускать. Это решение не было взвешенным. Оно также не было продиктовано милосердием, замаскированным под теплые покровы материнской доброты. Нет, этот поступок был интуитивным, подсказанным глубоким и необъяснимым женским знанием того, как устроен мир. Нельзя оставлять столь прекрасное существо, маленькую девочку, без защиты наедине с десятью разгоряченными мужчинами глубокой ночью.

Но как только безопасность Полли была обеспечена и мужчины ушли, перед Беатрикс и Ханнеке встал вопрос: а что с ней делать дальше? И тут они приняли взвешенное решение. Точнее, его приняла Беатрикс, будучи единственной в доме, кто имел право решать. И выбор ее, надо сказать, поверг в смятение всех. Беатрикс решила оставить Полли навсегда и немедленно удочерить ее, дав девочке фамилию Уиттакер.

Потом Альма узнала, что Генри Уиттакер пытался возражать (он был не рад уже тому, что его разбудили среди ночи, и куда меньше тому, что у него вдруг появилась дочь), но Беатрикс оборвала его жалобы одним свирепым взглядом, и Генри хватило благоразумия не возражать дважды. Что ж, как угодно. Будь как будет. Ведь их семья действительно была слишком уж

немногочисленна, а Беатрикс так и не удалось ее пополнить. Неужто он забыл, что после Альмы было еще двое детей? И что эти двое так и не задышали? И что сейчас эти мертвые дети лежат на кладбище при лютеранской церкви и проку от них никакого? Не кажется ли ему, что больше детей у них уже не будет? А с приходом Полли потомство Уиттакеров удвоится в одночасье, что весьма практично. Кроме того, девочка прелестна и, кажется, отнюдь не глупа. Напротив, как только шумиха улеглась, Полли продемонстрировала учтивость – пожалуй, даже аристократическую собранность, – тем более удивительную для ребенка, только что ставшего свидетелем смерти обоих родителей. Поэтому Генри согласился. К тому же у него не было выбора.

Беатрикс Уиттакер разглядела в Полли явный потенциал, а кроме того, не представляла для нее иного достойного будущего. Беатрикс верила, что в приличном доме, имея перед глазами пример высокой морали, дитя предпочтет иной жизненный путь и не ступит на дорожку сладострастных утех и греха, выбранную ее матерью, за что та в итоге поплатилась жизнью. Но сперва Полли нужно было отмыть. Руки и туфли несчастного ребенка были перепачканы кровью. Затем следовало сменить ей имя. Полли – да так зовут лишь комнатных попугаев да уличных девок. Было решено, что отныне Полли будут звать Пруденс¹⁴ – имя, которое, как надеялась Беатрикс, укажет девочке верный путь.

И вот все было решено – причем решено в течение какого-то одного часа. Так и вышло, что однажды во вторник в 1809 году Альма Уиттакер проснулась и, к изумлению своему, узнала, что теперь у нее есть сестра и сестру зовут Пруденс.

* * *

С приходом Пруденс в «Белых акрах» изменилось все. Потом, став уже взрослой женщиной и занявшись наукой, Альма узнала, что появление нового элемента в регулируемой среде всегда меняет эту среду многочисленными и непредсказуемыми путями, но тогда, в детстве, она испытывала лишь одно чувство – что в ее мир вторглось что-то враждебное, вмешался злой рок. Надо сказать, что Альма не приняла самозванку с распростертыми объятиями. С другой стороны, с какой стати ей было радоваться? Разве кто-то из нас когда-нибудь распахивал объятия перед самозванцами?

Долгое время Альма даже не понимала, зачем эта девочка здесь. Потом, когда она узнала историю Пруденс (выведала у молочниц, причем на немецком!), многое прояснилось, но в первый день после появления Пруденс в «Белых акрах» никто Альме ничего не объяснил. Даже Ханнеке де Гроот, которая обычно больше других знала о секретах, сказала лишь: «Так Бог распорядился, дитя мое, и это к лучшему». Когда же Альма попыталась выпытать подробности, Ханнеке оттолкнула ее и резко выпалила: «Отец девчухи вчера только повесился, дитя! Будь милостива и не допрашивай меня больше!» Но Альма так и не поняла, что все это значит. Отец Пруденс повесился? На чем? На крючке, прибитом к стенке? Как платье? А она, Альма, тут при чем?

За завтраком девочек официально представили друг другу. О вчерашней встрече никто не упомянул. Альма не могла оторваться от Пруденс, а Пруденс – от своей тарелки. Беатрикс разъяснила кое-что обоим девочкам, но те мало что поняли. Какая-то миссис Спаннер приедет после обеда из Филадельфии, чтобы скроить новые наряды для Пруденс из более подходящего материала, чем ее нынешнее платье. Еще ей купят пони, и ей нужно будет научиться ездить верхом, и чем скорее, тем лучше. Кроме того, теперь в «Белых акрах» появится учитель. Беатрикс решила, что для нее будет слишком утомительно заниматься образованием двух девочек одновременно, а поскольку до сих пор Пруденс нигде не обучалась, молодой и энергичный учитель станет для поместья полезным приобретением. Детскую переделают под класс. От Альмы,

¹⁴ Благоразумие (англ.)

само собой разумеется, ждут всяческой помощи в обучении сестры правописанию, арифметике и геометрии. Разумеется, по части интеллектуального развития Альма ушла далеко вперед, но если Пруденс будет искренне стараться – а Альма помогать, – и ей удастся достичь в этом превосходных результатов. Интеллект юной девушки, заявила Беатрикс, поразительно гибок, а Пруденс достаточно юна, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Человеческий ум при должной тренировке способен выполнить любую поставленную перед ним задачу. Главное – упорство.

Беатрикс говорила, а Альма разглядывала Пруденс. Есть ли на свете что-то более прекрасное, более волнующее, чем ее лицо? Если красота – помеха точности, как всегда говорила мать, как тогда воспринимать Пруденс? Вероятно, наименее точным объектом во Вселенной и самой большой помехой. Тревога Альмы усиливалась с каждой минутой. Она вдруг прозрела, осознав то, о чем раньше у нее не было причин задумываться, – что она, Альма, *некрасива*. Лишь в присутствии столь ослепительно красивой девочки, как Пруденс, ей вдруг открылась печальная истина. Пруденс была изящной, Альма – неуклюжей. Волосы Пруденс были как будто сотканы из бледно-золотого шелка, а волосы Альмы, по цвету напоминая ржавчину, росли во всех возможных направлениях, но только не вниз, что ничуть ее не красило. Носик Пруденс был похож на крошечный бутончик цветка, нос Альмы – на проросшую картофелину. Так можно было продолжать и дальше, с головы до ног, и перечисление это выставляло Альму в неприглядном свете.

Когда Альма и Пруденс доели завтрак, Беатрикс сказала:

– Теперь же, девочки, обнимитесь как сестры.

И Альма покорно обняла Пруденс, но без всякой симпатии. Когда девочки встали рядом, контраст между ними стал еще более заметным. Альме вдруг показалось, что больше всего они с Пруденс похожи на крошечное прелестное яйцо малиновки и огромную уродливую сосновую шишку, вдруг необъяснимым образом очутившиеся в одном гнезде.

От этого осознания Альме захотелось зарыдать или ударить Пруденс. Она почувствовала, как лицо ее помрачнело и его исказила недовольная гримаса. Беатрикс, должно быть, это заметила, потому что сказала:

– Пруденс, с твоего позволения мне нужно переговорить с твоей сестрой.

С этими словами мать взяла Альму за рукав, ущипнув ее сильно, до боли, и вывела из гостиной в коридор. Альма почувствовала, как к глазам подступают слезы, но проглотила их, а потом снова и снова.

Смерив взглядом свою единственную родную дочь, Беатрикс заговорила голосом холодным, как гранит:

– Чтобы я больше никогда не видела такое лицо, какое ты только что сделала. Тебе ясно?

Альма сумела выпалить всего одно несчастное словечко «*но...*», прежде чем ее заставили замолчать.

– Господь не терпит проявлений зависти и злобы, – продолжала Беатрикс, – не потерпят их и в нашей семье. Если в сердце твоём поселились жестокие и неприятные чувства, советую задушить их в корне. Возьми себя в руки, Альма Уиттакер. Ясно ли я выразилась?

На этот раз Альма возразила лишь мысленно: «*но...*», однако, видимо, даже ее мысли были слишком громкими, потому что Беатрикс каким-то образом их услышала. Это окончательно вывело ее из себя.

– Мне жаль, Альма Уиттакер, что ты такая эгоистка и не думаешь о других, – отчеканила Беатрикс с искривившимся от неподдельной ярости лицом. Последнее же слово она выплюнула, как острый осколок льда: – *Исправься!*

* * *

Исправляться, однако, пришлось и Пруденс, причем в немалой степени.

Во-первых, она сильно отстала от Альмы в вопросах обучения. Впрочем, трудно было найти ребенка, который не отстал бы от Альмы Уиттакер. Как-никак, к девяти годам Альма спокойно читала в оригинале «Комментарии» Цезаря и труды Корнелия Непота. Могла обосновать, в чем превосходство Теофраста над Плинием. (Первый – истинный ученый-естествоиспытатель, второй – всего лишь подражатель.) Ее древнегреческий, который она обожала и считала своего рода своеобразной разновидностью математики, с каждым днем становился все лучше.

Пруденс же знала лишь буквы и цифры. У нее был чудесный, мелодичный голос, но сама речь – вопиющее свидетельство ее прискорбного прошлого – отчаянно нуждалась в исправлении. Когда Пруденс лишь появилась в «Белых акрах», Беатрикс постоянно цеплялась к ее манере выражаться, точно поддевая ее заостренным концом вязальной спицы и выковыривая из нее слова, звучавшие простонародно или грубо. Замечания от Альмы также приветствовались. Беатрикс приказала Пруденс никогда не говорить «спереду» и «взади», заменив эти слова более грамотными «впереди» и «сзади». Слово «чепуха» звучало грубостью в любом контексте, как и «мужики». Если кто-то в «Белых акрах» отправлял письмо, оно шло «почтой», а не «поштой». Люди не «хворали», а «болели». В церковь ходили не «напрямки», а «напрямик». И говорили не «еще чутка, и придем», а «еще чуть-чуть, и придем». Не «поспешали», а «спешили». А еще в доме Уиттакеров не «болтали», а «беседовали».

Окажись на месте Пруденс более робкий ребенок, он вовсе перестал бы говорить. Более вздорный ребенок пожелал бы знать, почему Генри Уиттакеру в доме Уиттакеров позволено не только болтать все что попало, но и выражаться, как пьяному портовому грузчику, и, сидя за обеденным столом, величать собеседника «хер жующим ослом» прямо в лицо без малейшего нарекания со стороны Беатрикс, в то время как другим членам семьи положено *беседовать*, как барристерам. Но Пруденс не была ни робкой, ни вздорной. Она оказалась существом неизменно и невозмутимо чутким и совершенствовалась денно и нощно, полируя клинок своей души и никогда не допуская одну ошибку дважды. После пяти месяцев в «Белых акрах» речь Пруденс больше не нуждалась в исправлении. Даже Альма не могла найти в ней изъяна, хоть и искала его постоянно. Другие аспекты облика Пруденс – осанка, манеры, туалеты – вскоре также стали безупречными.

Все замечания Пруденс принимала без жалоб. Напротив, ей как будто хотелось, чтобы ее исправили, в особенности если замечание исходило от Беатрикс. Если Пруденс недобросовестно выполняла какую-либо задачу, или в голову ей приходили неблагие помыслы, или же с уст ее срывалась необдуманная фраза, она лично докладывала об этом Беатрикс, признавала свою ошибку и добровольно соглашалась выслушать нотацию. Таким образом, Беатрикс стала для Пруденс не просто матерью, но матерью-настоятельницей, которой она исповедовалась. Альму, с малых лет научившуюся скрывать свои ошибки и врать, если нужно, подобное поведение ужасало своей нелогичностью.

В результате она начала относиться к Пруденс с растущей подозрительностью. Было в Пруденс что-то твердое, как алмаз, и Альме казалось, что эта твердость скрывает порок, а может, даже зло. Альма считала ее скрытной и себе на уме. Пруденс имела обыкновение выскальзывать из комнат бочком, никогда ни к кому не поворачивалась спиной, не производила шума, закрывая за собой дверь, – и все это казалось Альме подозрительным. Кроме того, она со слишком усердным вниманием относилась к другим людям: никогда не забывала даты, имевшие какое-либо значение для окружающих, всегда поздравляла всех горничных с днем рождения в положенный день и все такое прочее. Альме казалось, что Пруденс слишком уж старается быть хорошей, и ее это прилежное стремление раздражало, как и ее стоицизм.

Одно Альма знала точно: сравнение с безупречно отполированной статуэткой вроде Пруденс не делает ей чести. Генри даже прозвал Пруденс «нашей маленькой жемчужиной», и по

сравнению с ним старое прозвище Альмы – Сливка – казалось жалким и невыразительным. Все в Пруденс заставляло ее чувствовать себя такой несовершенной.

Кое-что, впрочем, Альму утешало. В учебе она всегда была первой. Пруденс так и не смогла догнать сестру. И объяснялось это не недостатком старания – трудолюбия девочке было не занимать. Бедняжка корпела над учебниками с усердием баскского каменщика. Каждая книга была для Пруденс гранитной глыбой, которую нужно было втащить на гору, изнемогая под палящим солнцем. На это было больно смотреть, но Пруденс не сдавалась и ни разу не расплакалась. В результате она действительно достигла успехов, причем довольно значительных, если учесть ее происхождение. Правда, ей так и не далась математика (полученный ответ никогда не сходился с правильным), зато она сумела вы зубрить фундаментальные основы латыни, а спустя некоторое время довольно сносно заговорила на французском с очаровательным акцентом. Что касается правописания, Пруденс не уставала упражняться в нем, и вскоре почерк ее стал безупречным, как у герцогини.

Но всей дисциплины и желания в мире не хватило бы, чтобы преодолеть очевидную пропасть в образовании, а интеллектуальная одаренность Альмы простиралась гораздо дальше тех пределов, которых когда-либо сумела бы достигнуть Пруденс. Альма превосходно запоминала слова и была наделена блестящим математическим умом от природы. Она любила примеры, задачи, формулы и теоремы. Альме довольно было прочесть о чем-либо однажды, и это знание оставалось с ней навек. Она препарировала аргументы, как солдат разбирает винтовку: даже в темноте и в полусне они раскладывались по полочкам как миленькие. Алгебра приводила ее в восторг. Грамматика была ей старым другом – возможно, потому, что она выросла, одновременно говоря на нескольких языках. А еще она обожала свой микроскоп, казавшийся ей волшебным продолжением ее правого глаза – ведь с его помощью она могла заглянуть в душу самого Создателя.

Ввиду всего перечисленного можно было бы предположить, что учитель, которого Беатрикс в итоге пригласила для девочек, предпочел бы Альму Пруденс, однако этого не произошло. Напротив, этот человек осмотрительно не стал высказывать никаких предпочтений и относился к обеим девочкам как к равноценным своим подопечным. Это был довольно унылый юноша, британец по происхождению, с бледным, изрытым оспинами лицом и вечно беспокойным взглядом. Он много вздыхал. Звали его Артур Диксон, и он недавно закончил Эдинбургский университет. Беатрикс пригласила его на учительскую должность по итогам тщательного отбора, в котором участвовали еще несколько дюжин претендентов, отвергнутых ею по ряду причин: кто-то оказался слишком глуп, кто-то чересчур болтлив, кто-то слишком религиозен, кто-то недостаточно религиозен, один придерживался слишком радикальных взглядов, другой был слишком красив, еще один слишком толст, а еще один заикался.

В первый год службы Артура Диксона Беатрикс часто присутствовала в классе, занимаясь шитьем в уголке и следя за тем, чтобы Артур не делал фактических ошибок и не вел себя каким-либо неподобающим образом. В конце концов она успокоилась: юный Диксон оказался знатоком академической программы и полнейшим занудой, начисто лишенным ребячества и юмора. Поэтому ему можно было спокойно доверить занятия с сестрами Уиттакер, проходившие четыре дня в неделю по расписанию, в котором чередовались уроки естествознания, философии, латыни, французского, древнегреческого, химии, астрономии, минералогии, ботаники и истории. Альме также предстояли дополнительные углубленные курсы – оптика, алгебра и сферическая геометрия. Пруденс от этих предметов Беатрикс освободила, проявив несвойственное ей милосердие.

По пятницам от этого расписания немного отступали – в этот день из центра Филадельфии приезжали учителя рисования, танцев и музыки, внося некоторое разнообразие в образовательную программу. Кроме того, ранним утром девочки должны были помогать Беатрикс в греческом саду. Этот сад, триумф красоты и математики, Беатрикс пыталась устроить в соот-

ветствии со строжайшими принципами евклидовой геометрии, применяя для этого искусство фигурной стрижки деревьев (сплошные шары, конусы и искусно выстриженные треугольники, ровные, неподвижные и геометрические правильные). От девочек также требовалось посвящать несколько часов в неделю совершенствованию навыков рукоделия. А по вечерам Альму с Пруденс, разумеется, приглашали сидеть за столом в парадном обеденном зале и вести интеллектуальные беседы с гостями со всего света. Если же гостей в «Белых акрах» не было, девочки проводили вечера в гостиной, помогая отцу и матери вести официальную корреспонденцию. По воскресеньям все ходили в церковь. Каждый вечер перед сном подолгу читали молитвы.

Оставшееся время было свободным.

* * *

На самом деле не такое уж сложное это было расписание – во всяком случае, для Альмы. Девочка она была подвижная, любопытная, и в отдыхе почти не нуждалась. Ей нравились умственный труд, физическая работа в саду и беседы за обеденным столом. Она всегда была рада помочь отцу с перепиской поздним вечером (поскольку другая возможность побыть с ним один на один ей теперь выпадала редко). Каким-то образом ей даже удавалось выкроить пару часов для себя, и она посвящала их разнообразным ботаническим опытам. Девочка разглядывала ивовые черенки и размышляла, почему те иногда пускают корни из почек, а иногда – из листьев. Препарировала и запоминала, засушивала и классифицировала все растения, что попадались ей в руки. Собрала прекрасный *hortus siccus* – великолепный маленький гербарий.

Ботаника нравилась Альме все больше и больше. И притягивала ее не столько красота растений, сколько удивительная упорядоченность растительного мира. Дело в том, что Альму безмерно привлекали всевозможные системы, последовательности, классификации и каталоги, а ботаника предоставляла обширные возможности для занятия всеми этими приятными вещами. Альме очень нравился тот факт, что растения, заняв свое место в правильной классификации, оставались там навсегда. Растительная симметрия также регулировалась важными математическими закономерностями, и эти непреложные правила вселяли в Альму уверенность и внушали ей почтение. К примеру, каждому растительному виду было свойственно определенное, фиксированное соотношение между числом зубцов чашечки и количеством лепестков, и это соотношение никогда не менялось; оно становилось аксиомой. Цветок с пятью тычинками всегда имел ровно пять тычинок – и никогда четыре или шесть. Лилия никогда не смогла бы передумать и стать пионом, как и пион – лилией.

Единственное, о чем мечтала Альма, – это посвящать изучению растений еще больше времени. У нее были странные фантазии. Например, она воображала, что служит в армии, только это армия естественных наук; она живет в бараке, и поутру ее будит горн, после чего она и другие юные натуралисты маршируют шеренгой в униформе, чтобы весь день трудиться в лесах, ручьях и лабораториях. Девочка мечтала поселиться в ботаническом монастыре или закрытой школе вместе с другими столь же увлеченными классификаторами; там никто не мешал бы другим заниматься наукой, но все делились бы своими самыми интересными открытиями. Ей понравилось бы даже в ботанической тюрьме! (Тогда Альме не приходило в голову, что подобные темницы для ученых с изоляцией в четырех стенах в некотором роде действительно существовали и назывались университетами. Но в 1810 году маленькие девочки не мечтали об университетах.)

Альма была не прочь усердно учиться. Но откровенно недолюбливала пятницы. Уроки рисования и танцев, занятия музыков – все это ее раздражало и отвлекало от истинных интересов. Она не была грациозной и не научилась танцевать. Не могла отличить одну известную картину от другой и не научилась рисовать лица так, чтобы персонажи ее картин не выглядели напуганными до смерти или мертвыми. Способностей к музыке у нее тоже не было, и,

когда Альме исполнилось одиннадцать, ее отец выступил с жестким требованием, запретив ей мучить фортепьяно. А вот Пруденс во всех этих занятиях блистала. Она также прекрасно умела шить, с невероятным изяществом проводила чайную церемонию и обладала множеством других маленьких талантов, чем немало досаждала Альме. По пятницам Альму обычно обуревали самые черные и завистливые мысли в отношении сестры. К примеру, это бывали дни, когда она всерьез подумывала, не променять ли знание одного из языков (любого, кроме древнегреческого!) на нехитрое умение складывать конверты так красиво, как могла Пруденс, пусть даже это получилось бы *всего лишь раз*.

Несмотря на это – а может, и из-за этого, – Альма испытывала истинное удовлетворение, предаваясь тем занятиям, в которых превосходила сестру. И наиболее заметным было ее превосходство за столом во время знаменитых ужинов Генри Уиттакера, в особенности в разгар обсуждения новых идей. С годами речь Альмы стала смелее, аргументы – более точными и убедительными. Но Пруденс так и не научилась уверенно чувствовать себя во время этих застолий. Она обычно сидела не открывая рта, являясь премилым, но бесполезным украшением вечера, способным всего лишь заполнить лишний стул в гостиной, и не несла никакой другой функции, кроме эстетической. В некоторой степени это делало Пруденс очень полезной. К примеру, ее можно было посадить с кем угодно рядом, и она не стала бы возражать. Нередки были случаи, когда бедняжку Пруденс нарочно сажали рядом с самыми занудными и глухими старыми профессорами, ходячими мавзолеями, имевшими привычку ковырять вилкой в зубах или засыпать между сменами блюд и тихонько храпеть, пока вокруг шли разгоряченные дебаты. Пруденс никогда не жаловалась и не просила предоставить ей более интересного собеседника. Ей словно было все равно, кто сидит с ней рядом; ее осанка и тщательно заученные манеры никогда не менялись.

Альма тем временем жадно бросалась обсуждать любые темы – от почвоведения до молекул, из которых состоит газ, и физиологии слез. Однажды в «Белые акры» наведалься человек, только что вернувшийся из Персии, где в окрестностях древнего города Исфахана обнаружил образцы растения, из которого, по его мнению, можно было изготовить аммиачную камедь – древний и дорогостоящий ингредиент лекарственных снадобий, источник которого прежде был неизвестен западному миру, так как торговлю им контролировали местные бандиты. Молодой человек был подданным британской короны, но разочаровался в своем британском начальстве и желал поговорить с Генри Уиттакером по поводу финансирования своих незавершенных исследований. Генри и Альма, действуя и мысля как единый организм, что частенько случалось с ними за обеденным столом, набросились на юношу с расспросами с обеих сторон, как две овчарки, окружившие барашка.

– А какой климат в этом регионе Персии? – поинтересовался Генри.

– И какая там высота? – подхватила Альма.

– Вид этот произрастает на открытой равнине, сэр, – отвечал гость, – и столь богат камедью, что выделяет ее в огромных количествах...

– Да, да, да, – прервал его Генри. – Это вы так говорите, а мы, видимо, должны поверить вам на слово, ведь в подтверждение вы привезли нам камеди всего с наперсточек. Но скажите, однако, сколько вы уплатили персидским чиновникам? Взятки, я имею в виду, за привилегию бродить сколько угодно по их стране и вот так просто собирать камедь?

– Э-э... безусловно, сэр, они требуют определенную плату, но это малая цена за...

– Мы не платим дань, – отвечал Генри. – Мне все это не нравится. Зачем вы вообще стали рассказывать кому-то, чем занимаетесь?

– Как зачем, сэр? Нельзя же вывозить товар контрабандой!

– Да что вы? – Генри поднял бровь. – И почему же?

– А можно ли вырастить этот вид где-нибудь еще? – вмешалась Альма. – Видите ли, сэр, нам будет мало проку, если для сбора сырья придется каждый год снаряжать дорогостоящую экспедицию в Исфахан.

– Я еще не успел выяснить...

– Будет ли этот вид расти на Катхияваре?¹⁵ – спросил Генри. – Вы знаете кого-нибудь на Катхияваре?

– Нет, сэр, я лишь...

– А может быть, на американском Юге? – встряла Альма. – Какое количество осадков необходимо?

– Как тебе хорошо известно, Альма, меня не интересуют предприятия по разведению чего-либо на американском Юге, – отрезал Генри.

– Но отец, говорят, что в Миссури...

– Признайся, Альма, ты всерьез думаешь, что этот бледный английский клоп не зачахнет в Миссури?

Бледный английский клоп, о котором, собственно, шла речь, заморгал и, кажется, утратил дар речи. Но Альма не унималась и продолжала расспрашивать гостя с нарастающим волнением:

– А как думаете, тот вид, о котором идет речь, не тот же, что описывает Дискорид в *Materia Medica*? Вот это было бы любопытно! У нас в библиотеке есть превосходное раннее издание Дискорида. Если хотите, после ужина я вам его покажу!

Тут в разговор наконец вмешалась Беатрикс Уиттакер и отчитала свою четырнадцатилетнюю дочь:

– Право, Альма, обязательно ли сообщать всему миру о каждой мысли, что придет тебе в голову? Почему бы не позволить нашему бедному гостю хотя бы попытаться ответить на один вопрос, прежде чем обрушить на него другой? Прошу, молодой человек, попытайтесь снова. Что вы хотели сказать?

Но тут опять заговорил Генри.

– Вы же даже черенков не привезли, да? – обрушился он на вконец растерявшегося юношу, который уже не знал, кому из Уиттакеров отвечать первым, и потому сделал грубейшую из ошибок – не ответил никому.

Последовало долгое молчание, в ходе которого к нему обратились все взгляды. Но молодой человек так и не сумел выдать из себя ни единого слова.

Не вытерпев, Генри нарушил молчание, повернувшись к Альме и проговорив:

– А... забудь, Сливка. Этот меня не интересует. Совсем ничего не продумал. Нет, ты взгляни на него! Сидит здесь, ест мой ужин, пьет мой кларет и надеется разжиться моими деньгами!

И Альма послушалась и прекратила расспросы, не вдаваясь больше в подробности касательно аммиачной камеди, Дискорида и племенных обычаев Персии. Вместо этого она с улыбкой повернулась ко второму из присутствующих за столом джентльменов, не обратив внимания на то, что первый юноша при этом совсем с лица спал, и спросила:

– Сэр, судя по вашей великолепной диссертации, вы обнаружили довольно редкие окаменелости! У вас уже было время сравнить кости с современными образцами? Неужели, по вашему, это зубы гиены? И вы до сих пор придерживаетесь мнения, что пещера была затоплена? Знакомы ли вы с недавней статьей мистера Уинстона, посвященной доисторическим потопам?

¹⁵ Полуостров в индийской провинции Гуджарат.

Тем временем Пруденс, на которую никто не обращал внимания, невозмутимо повернулась к пораженному молодому англичанину, что сидел рядом – тому самому, которому только что столь немилосердно заткнули рот, – и промолвила:

– Прошу вас, продолжайте.

* * *

В тот вечер перед сном, закончив записи в своих гротесках и помолвившись, Беатрикс, как у нее было заведено, высказала девочкам свои сегодняшние замечания.

– Альма, – наставляла она дочь, – учтивая беседа не должна превращаться в гонку до финишной прямой. Возможно, ты найдешь полезным и приятным хотя бы иногда давать своим жертвам возможность закончить мысль. Главное достоинство хозяйки дома в том, чтобы обратить внимание на таланты гостей, а не нахваливать свои собственные.

– Но... – запротестовала было Альма.

Беатрикс оборвала ее:

– Кроме того, вовсе не обязательно продолжать смеяться над шутками после того, как все оценили их и предались веселью. В последнее время я замечаю, что ты смеешься слишком долго. Ни одна из знакомых мне приличных женщин не позволяла себе гоготать, как гусь...

Затем Беатрикс обратилась к Пруденс:

– Что до тебя, Пруденс, хоть я и восхищена твоим нежеланием ввязываться в праздные и докучливые разговоры, полное отсутствие участия в беседе – совсем другое дело. Гости сочтут тебя тупицей, каковой ты не являешься. Было бы крайне прискорбно запятнать имя нашей семьи позорными слухами о том, что лишь одна из моих дочерей умеет говорить. Робость, как я уже не раз тебе говорила, всего лишь одна из разновидностей тщеславия. Избавься от нее.

– Прошу прощения, мама, – отвечала Пруденс. – Нынче вечером мне нездоровилось.

– По-моему, тебе это только *кажется*. Перед ужином я видела тебя с книгой легкомысленных стихов: ты читала и прохлаждалась как ни в чем не бывало. Тот, кто читает легкомысленные стихи перед ужином, не может заболеть всего час спустя.

– Прошу прощения, мама, – повторила Пруденс.

– Я также хочу обсудить с тобой, Пруденс, поведение мистера Эдварда Портера сегодня вечером за столом. Ты не должна была позволять ему так долго разглядывать себя. Подобные взгляды унизительны для любой девушки. Тебе нужно научиться пресекать подобное поведение мужчин, говоря с ними твердо и рассудительно, причем на серьезные темы. Возможно, мистер Портер раньше оправился бы от ступора, начни ты обсуждать с ним русскую кампанию, к примеру. Мало быть просто хорошей, Пруденс, ты также должна стать умной. Поскольку ты женщина, то всегда должна сохранять достойную моральную позицию по отношению к мужчинам, но если ты не станешь умнее и не научишься отстаивать свое мнение – от нравственности будет мало толку.

– Понимаю, мама, – отвечала Пруденс.

– Нет ничего важнее достоинства, девочки. Время покажет, кто им обладает, а кто нет.

– Благодарю вас, мама, – сказала Пруденс.

Раздосадованная и пристыженная Альма не сказала ничего.

* * *

Жизнь показалась бы сестрам Уиттакер приятнее, если бы, как слепой и хромой, они научились помогать друг другу там, где другой был слаб. Но вместо этого они молча ковыляли рядом, и каждой приходилось вслепую справляться со своими бедами и изъятиями.

К их чести и к чести их матери, следившей за их манерами, девочки никогда не грубили друг другу. Ни разу они не обменялись неласковым словом. Гуляя под дождем, они почтительно шли под одним зонтиком, взявшись под руку. Пропускали друг дружку в дверях, отходя в сторону. Предлагали друг другу последнее пирожное или лучшее место, поближе к теплому очагу. В канун Рождества обменивались скромными подарками, вложив в них всю свою заботу и внимание. В один год Альма купила для Пруденс, любившей рисовать цветы (а рисунки ее, надо сказать, были красивы, но недостаточно *точные*), чудесную книгу по искусству ботанической иллюстрации под названием «Сам себе учитель рисования: новый трактат по рисованию цветов для дам». В том же году Пруденс изготовила для Альмы прелестнейшую атласную подушечку для булавок ее любимого цвета – баклажанного. Так что девочки всерьез пытались проявлять заботу друг о друге.

«Спасибо за подушечку, – написала Альма Пруденс в маленькой записочке, проявив должную вежливость. – Непременно буду пользоваться ею каждый раз, когда возникнет необходимость в булавке».

Год за годом сестры Уиттакер обходились друг с другом с безупречной учтивостью, хоть и делали это по-разному. Для Пруденс безупречная учтивость была естественным проявлением ее сущности. Но Альме ради этого приходилось прилагать великие усилия и постоянно душиТЬ в себе более низменные инстинкты, причем душиТЬ почти физически: подчинить их удавалось лишь благодаря внутренней самодисциплине и страху заслужить неодобрение Беатрикс. Таким образом, приличия соблюдались, и со стороны казалось, что в «Белых акрах» царит мир. Но в действительности Альму и Пруденс разделяла крепкая стена, и со временем она не пошатнулась. Да никто и не пытался помочь им ее пошатнуть.

Однажды зимой, когда девочкам было лет по пятнадцать, в «Белые акры» приехал старый друг Генри из ботанического сада Калькутты. Они не виделись много лет. Еще в дверях, отряхивая снег со своего плаща, гость прокричал:

– Генри Уиттакер, старый проныра! А ну-ка познакомь меня со своей знаменитой дочкой, о которой мне все уши прожужжали!

Девочки были неподалеку – конспектировали в гостиной свои ботанические заметки. Они слышали каждое слово.

Генри проревел своим громким грохочущим голосом:

– Сливка! А ну бегом сюда! Тебя хотят видеть!

Альма бросилась в атриум с раскрасневшимся от предвкушения счастья лицом. Незнакомец взглянул на нее, замер на мгновение – и рассмеялся:

– Да нет же, старый идиот! Я не эту имел в виду! Приведи мне хорошенькую!

Ничуть не обидевшись, Генри отвечал:

– А... так значит, тебе нужна наша маленькая жемчужина? Пруденс, бегом сюда! Тебя хотят видеть!

Пруденс проплыла в дверь и встала рядом с Альмой, которой казалось, будто ноги ее увязли в полу, как в густом и ужасном болоте.

– Ага! – воскликнул гость, оглядывая Пруденс так, будто прикидывал цену. – О, она действительно прекрасна, не правда ли? А я сомневался. Думал, все преувеличивают.

Генри пренебрежительно махнул рукой.

– Ах, все вы слишком высокого мнения о Пруденс, – проговорил он. – А по мне, так та, что лицом попроще, стоит десяти хорошеньких.

Так что сами видите – вполне возможно, что обе девочки страдали одинаково.

Глава седьмая

Году тысяча восемьсот шестнадцатому предстояло войти в историю как «год без лета» – лето не настало не только в «Белых акрах», но и во всем мире. Извержение вулкана в Индонезии наполнило земную атмосферу пеплом и тьмой, принеся засуху в Северную Америку и холод и голод на большую часть территории Европы и Азии. В Новой Англии погиб урожай кукурузы, в Китае – рис, а по всей Северной Европе вымерзли овес и пшеница. В Ирландии более ста тысяч человек умерли с голоду. Повсюду массово забивали лошадей и скот, голодавших без зерна. (А немецкий изобретатель в ответ на массовую гибель животных приступил к работе над проектом безлошадного транспортного средства, впоследствии названного велосипедом.) Францию, Англию и Швейцарию охватили голодные бунты. В Квебеке в июне выпало двенадцать дюймов снега. В Италии выпал коричневый и красный снег, и люди испугались, что настал конец света.

Весь июнь, июль и август окрестности Пенсильвании были окутаны глубоким, холодным и темным туманом. Ничего не росло. Последующая зима оказалась еще хуже. Тысячи семей потеряли все. А вот для Генри Уиттакера год оказался неплохим. Благодаря обогреву в оранжереях большинство экзотических растений из тропиков остались живы, несмотря на полумрак, а открытым земледелием он никогда не занимался из-за множества рисков. Большая часть его лекарственных растений ввозилась из Южной Америки, где климат по-прежнему был благоприятным. Мало того, из-за капризов погоды многие начали болеть, а где болезни – там растут прибыли фармацевтических компаний. Поэтому ни финансы, ни ботаническая коллекция Генри почти не пострадали.

Напротив, в тот год Генри лишь приумножил свое состояние, занявшись спекуляцией недвижимостью, а также предался новому увлечению – коллекционированию редких книг. Из Пенсильвании толпой бежали фермеры, направляясь на запад в надежде найти там более яркое солнце, здоровую почву и благоприятную среду. Генри купил множество земель, брошенных этими разорившимися людьми, и присоединил к своим владениям несколько превосходных мельниц, лесов и пастбищ. В тот год обанкротилось и немало благородных семей из Филадельфии, пав жертвой экономического кризиса, вызванного дурной погодой. Для Генри это означало чудесные новости. Стоило очередному знатному семейству объявить о банкротстве, как он тут же скупал за бесценок их земли, мебель, лошадей, великолепные французские седла и персидские ковры, а главное – их библиотеки.

За годы приобретение ценных книг превратилось для Генри в своего рода манию – манию, понять которую большинству людей было трудно, если учесть, что Генри почти не умел читать по-английски и уж тем более не смог бы прочесть, скажем, Катулла¹⁶ в оригинале. Но дело в том, что Генри не собирался *читать* эти книги; он просто хотел *обладать* ими как трофеями для растущей библиотеки «Белых акров». С особым старанием он стремился пополнить в свою коллекцию медицинские и философские трактаты и книги по ботанике с роскошными иллюстрациями. Он знал, что эти тома производят на гостей столь же неизгладимое впечатление, как и ценные тропические виды в его оранжереях. Он даже взял в привычку выбирать один редкий, ценный экземпляр (точнее, выбирала Беатрикс) и демонстрировать его гостям перед обедом. Этот ритуал доставлял ему особенное удовольствие, когда в гости навещались прославленные ученые – чего стоил один их вид, когда у них перехватывало дыхание и темнело перед глазами от желания обладать такой драгоценностью, ведь большинство ученых мужей и не мечтали о том, что им удастся подержать в руках раннее издание Эразма

¹⁶ Гай Валерий Катулл (ок. 87–54 до н. э.) – один из наиболее известных древнеримских поэтов, главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.

Роттердамского (начала шестнадцатого века), где с одной стороны листа текст был отпечатан по-древнегречески, а с оборотной – на латыни.

Книги Генри скупал жадно и помногу. Он приобретал чужие библиотеки не избранными томами, а целыми сундуками. Разумеется, все эти книги необходимо было перебрать, но ясно, что сам Генри не годился для этой работы. Годами этот труд, изнурительный физически и умственно, ложился на плечи Беатрикс Уиттакер; та терпеливо разбирала завалы, оставляя истинные жемчужины, а кучу лишнего отправляла в публичную библиотеку Филадельфии. Однако поздней осенью 1816 года Беатрикс поняла, что уже не справляется. Книги поступали быстрее, чем она успевала их разобрать. Каретная была заставлена заполненными доверху сундуками, в которые еще никто не заглядывал. Каждую неделю благородные семейства объявляли о финансовом банкротстве, и как следствие на «Белые акры» обрушивались завалы книг из частных библиотек. Коллекция Генри грозила стать реальной катастрофой.

Вот Беатрикс и выбрала Альму своей помощницей в деле разбора книг. Выбор был очевиден: от Пруденс в подобных вопросах было мало толку, так как она не знала древнегреческого, плохо знала латынь и не смогла бы отличить ботанические справочники, изданные до 1753 года, от тех, что были изданы после 1753 года (то есть до и после появления классификации Линнея). Альма, которой к тому времени исполнилось шестнадцать лет, с радостью взялась за приведение в порядок библиотеки «Белых акров», и она прекрасно справилась с этой задачей. Благодаря основательным познаниям в истории она хорошо понимала, с чем имеет дело, а кроме того, была прилежным и страстным классификатором. Да и физических сил, нужных для того, чтобы переставлять тяжелые ящики и коробки, ей было не занимать. Вдобавок погода весь 1816 год стояла настолько отвратительная, что гулять на воздухе было не очень приятно, а работать в саду – почти бесполезно. И Альма с радостью стала воспринимать свой труд в библиотеке как нечто вроде садоводства, но взаперти, ведь это занятие, как и работа в саду, несло в себе все прелести физического труда и давало прекрасные результаты.

Альма даже обнаружила в себе талант реставратора книг. Опыт составления гербариев снабдил ее всеми необходимыми навыками для работы с материалами в переплетной – крошечной темной комнате с потайной дверью, примыкавшей к библиотеке, где Беатрикс хранила бумагу, ткани, кожу, воск и клеящие составы, нужные для реставрации хрупких старых изданий. По правде говоря, через несколько месяцев Альма достигла такого совершенства во всех этих делах, что Беатрикс полностью перепоручила ей заботу о библиотеке «Белых акров» – книгах уже отобранных и тех, что предстояло отобрать. Сама Беатрикс располнела и стала слишком уставать, карабкаясь по приставным лестницам, да и работа эта ей надоела.

Надо отметить, что другой бы засомневался, стоит ли бросать безо всякого присмотра приличную незамужнюю девушку шестнадцати лет среди множества книг неизвестного содержания, со всем доверием отправляя ее в плавание в гигантском океане либеральных идей, где она одна должна была отыскать свой путь, тем более что дело было в 1816 году. Можно лишь предположить, что Беатрикс, видимо, считала, что ее работа в отношении Альмы выполнена и она успешно справилась с воспитанием молодой женщины, казавшейся, по крайней мере на первый взгляд, прагматичной, высокоморальной и способной противостоять любым безнравственным идеям. Впрочем, существует также вероятность, что Беатрикс попросту не подумала о том, какие книги могут попасться Альме в сундуках, куда никто еще не заглядывал. А может, Беатрикс считала, что раз Альма некрасива и неуклюжа, то опасности, что несет с собой – о боже правый! – пробуждение *чувственности*, ей не грозят. А может, Беатрикс (к тому времени ей стукнуло почти полвека, и она начала страдать от эпизодических головокружений и рассеянности) попросту позабыла об осторожности.

Как бы то ни было, Альму Уиттакер оставили одну, и именно так она и нашла ту книгу.

* * *

Девушка так и не узнала, из чьей библиотеки она взялась. Альма нашла ее в неподписанном сундуке, где, за исключением одной этой книги, не было ничего примечательного – по большей части медицинские труды. Заурядный Гален, несколько последних переводов Гиппократы – ничего нового и интересного! Но среди других обнаружился толстый увесистый том анонимного автора с названием *Cum Grano Salis*. Что за странное название, подумала Альма: «С щепоткой соли». Поначалу она решила, что перед ней трактат по кулинарии, нечто вроде написанного в четвертом и переизданного в пятнадцатом веке в Венеции *De Re Coquinaria*, который уже имелся в библиотеке «Белых акров». Однако, вскользь пролистав страницы, увидела, что книга написана на английском и в ней нет иллюстраций и списков, предназначенных для изучения кулинарами. Тогда Альма открыла первую страницу, и то, что она там прочла, заставило ее ум лихорадочно замечаться.

«Меня удивляет, – писал анонимный автор в предисловии, – что мы с рождения наделены самыми замечательными выпуклостями и отверстиями в теле, которые, как знают даже маленькие дети, являются объектами чистого наслаждения; однако во имя цивилизации мы притворяемся, что они омерзительны и их никогда нельзя касаться, демонстрировать и использовать для удовольствия! Но почему, почему не посвятить себя изучению этих телесных даров, как своих собственных, так и чужих? Лишь наш ум мешает нам предаться столь восхитительным занятиям, лишь наносное ощущение себя „цивилизованными“ людьми, ставящее под запрет столь простые забавы. Мой ум, тоже некогда томившийся в темнице жестоких приличий, с годами раскрылся навстречу самым изысканным физическим удовольствиям. Поистине, я обнаружил, что проявления чувственности могут стать тонким искусством, коль скоро практикуются с тем же усердием, что музыка, искусство или литература.

На этих страницах, читатель, вы найдете честный рассказ об эротических приключениях, которым я посвятил всю жизнь; некоторые назовут их *грязными*, но я с самой юности предавался им с радостью – и, полагаю, не причинил тем самым никому вреда. Будь я религиозным человеком, скованным чувством стыда, то назвал бы эту книгу *признанием*. Но я не намерен стыдиться своей сексуальности и в своих исследованиях предмета пришел к выводу, что *многим человеческим обществам в разных частях света также несвойствен этот стыд*. Со временем я убедился, что отсутствие сексуальной стыдливости, возможно, является естественным состоянием человека как вида – состоянием, увы, подавленным нашей цивилизацией. По этой причине моя необычная история не является признанием – это всего лишь рассказ. Надеюсь и верю, что читатели – причем не только джентльмены, но и смелые, образованные дамы – найдут сей рассказ поучительным и занимательным».

Альма захлопнула книгу. Этот тон был ей знаком. Она не знала автора лично, разумеется, но знала этот тип: образованный ученый муж вроде тех, кто часто ужинал в «Белых акрах». Подобный человек мог бы с легкостью написать четыреста страниц о жизни кузнечиков, но в данном случае решил посвятить те же четыреста страниц описанию своих сексуальных приключений. Это чувство узнавания, ощущение, что с автором они близко знакомы, смущало и пленяло Альму. Если автор подобного трактата – почтенный джентльмен, изысканный столь почтенным языком, делает ли это почтенным его труд?

Что на это сказала бы Беатрикс? Альме не надо было гадать на это счет. Беатрикс причислила бы эту книгу к запрещенным, опасным и гнусным и назвала бы ее средоточием порока. Как бы поступила с этой книгой Беатрикс? Несомненно, пожелала бы от нее избавиться. А что бы сделала Пруденс, если бы книгу нашла она? Да Пруденс побоялась бы приблизиться к ней на милю! О да, если бы такая книга попала в руки Пруденс, та посчитала бы своим долгом отнести ее к Беатрикс, которая тут же уничтожила бы гнусный предмет и подвергла бы девушку стро-

гому наказанию за то, что та осмелилась прикоснуться к нему. Да, у Пруденс начисто отсутствовал инстинкт самосохранения.

А как же поступила Альма?

Она решила, что уничтожит книгу и ничего никому о ней не скажет. Более того, она решила избавиться от нее немедленно. Тем же вечером. Не прочитав больше ни слова.

Она снова раскрыла книгу в случайном месте. И снова услышала знакомый голос respectable джентльмена, вещавший, однако, о совершенно немислимых предметах.

«Я пожелал узнать, – рассказывал он, – в каком возрасте женщина теряет способность испытывать чувственное наслаждение. От своего друга, владельца борделя, не раз помогавшего мне в прошлом в моих экспериментах, я узнал о семидесятилетней куртизанке, которая с удовольствием занималась своим делом с четырнадцати до шестидесяти четырех лет и в настоящее время проживала в городе недалеко от моего места жительства. Я написал этой женщине письмо, и она ответила мне с чарующей искренностью и теплотой. Не прошло и месяца, как я наведался к ней в гости, и в ходе этого посещения она позволила мне осмотреть ее гениталии, которые почти ничем не отличались от гениталий намного более молодых женщин. Она также продемонстрировала, что вполне способна получать удовольствие. При помощи пальцев и тонкого слоя орехового масла, покрывающего клитор, она поглаживаниями довела себя до восхитительного пика...»

Тут Альма захлопнула книгу. Такое чтение нельзя хранить. Книгу нужно сжечь на кухне, в очаге. Но только не сейчас, когда ее могут увидеть, а позднее, ночью.

Она снова открыла трактат на первой попавшейся странице.

«Со временем я обнаружил, – спокойным тоном продолжал рассказчик, – что существуют люди, чьему физическому и душевному состоянию крайне благоприятствует регулярное битье по обнаженным ягодицам. Много раз я был свидетелем того, как эта практика поднимает настроение и мужчинам, и женщинам; подозреваю, что это одно из самых эффективных средств лечения меланхолии и прочих душевных недугов, которым мы располагаем. В течение двух лет я водил знакомство с восхитительной девушкой, модисткой, чьи невинные, пожалуй, даже ангельские полушария огрубели и окрепли от постоянной порки; отведав кнута, она неизменно забывала о печалях. Ранее на этих страницах я уже описывал кушетку сложной конструкции, изготовленную для меня одним из лучших лондонских краснодеревщиков; тот оснастил ее рычагами и веревками по моему заказу. Так вот, та модистка сильнее всего любила, когда ее крепко привязывали к той кушетке, где она брала мой член в рот и сосала, как дитя сосет сахарный леденец на палочке, в то время как помощник...»

Альма снова захлопнула книгу. Любои человек, чей ум не занимают вульгарные предметы, немедленно бы прекратил читать эту книгу. Но в душе Альмы уже поселился червь любопытства. Этот червь отныне желал ежедневно получать свою порцию романа, узнавая интересное – узнавая *правду*.

И Альма снова открыла книгу и читала еще час, обуреваемая любопытством, сомнениями и паникой. Совесть тянула ее за юбки, умоляя остановиться, но Альма не могла остановиться. То, что она обнаружила на этих страницах, наполнило ее волнением и неловкостью, взбудоражило и лишило покоя. Когда же ей подумалось, что она сейчас упадет в обморок от мыслей, заполонивших ее воображение, словно спутанные лианы, она наконец захлопнула книгу в последний раз и убрала ее в ничем не примечательный сундук, на прежнее место.

Она торопливо вышла из каретной, разглаживая фартук вспотевшими руками. На улице было прохладно и хмуро, как и весь год; в воздухе неприятной сыростью висел туман, и он становился таким густым, что его можно было поддеть вилкой. Сегодня у Альмы было еще много важных дел. Она обещала помочь Ханнеке де Гроот, которая руководила отправкой бочек с сидром на зимовку в погреба. Кто-то разбросал бумагу под сиренью у изгороди со стороны южного леса – придется убрать. В кустарник за греческим садом ее матери вторглись

побеги плюща – нужно немедленно послать мальчишку, чтобы тот их подрезал. Ей следовало тотчас взяться за эти дела и выполнить их быстро, как всегда.

Выпуклости и отверстия.

Она могла думать лишь о *выпуклостях и отверстиях*.

* * *

Наступил вечер. В гостиной зажгли свечи и расставили фарфор. К ужину ждали гостей. Альма оделась на выход, в спешке напялив дорогое платье из бумажного муслина. Ей следовало бы ждать в гостиной, но она извинилась и сказала, что ей нужно ненадолго отлучиться в библиотеку. Там она заперлась в переплетной за потайной дверью, спрятанной рядом с дверью в саму библиотеку. Это была ближайшая дверь, которая крепко запиралась. Книги у нее при себе не было. Впрочем, она была ей ни к чему; образы прочитанного и так преследовали ее весь вечер, пока она бродила по поместью, – дикие, неотступные и пробирающие до костей.

В голове роились мысли, творя с ее телом что-то невообразимое. Ее бутон изнывал. Эта ноющая боль усиливалась весь вечер. Болезненное чувство между ног – будто ей чего-то не хватает – было больше всего похоже на колдовство, на дьявольское проклятие. Ее бутон требовал, чтобы его потеряли как можно сильнее. Юбки мешали. В этом платье она вся чесалась и изнемогала. Альма подняла подол. Сидя на маленьком табурете в тесной, темной, запертой переплетной, где пахло клеем и кожей, она раздвинула ноги и начала гладить себя, терев, запускать пальцы внутрь и двигать ими по кругу, лихорадочно изучая свои влажные лепестки, пытаясь отыскать спрятавшегося там демона и стереть его образ своей рукой.

И она нашла. И стала тереть его сильнее и сильнее. Потом внутри ее что-то раскрылось. Боль превратилась во что-то другое – рвущееся наружу пламя, вихрь наслаждения, жар, полыхнувший в лицо. Она шла за наслаждением туда, куда ее вели. Она стала невесомой и безмянной; у нее стерлись мысли и память. Потом вспыхнул свет, будто перед глазами выпустили фейерверк, – и все было кончено. Она ощутила покой и тепло. Впервые за всю ее сознательную жизнь ее ум оказался не занят мыслями и тревогами, работой и решением головоломок. А потом из центра этой восхитительной пушистой тишины родилась мысль и, укрепившись, заняла собой все пространство:

Я должна сделать это снова.

* * *

Меньше чем через полчаса Альма уже стояла в атриуме «Белых акров», покрасневшая и смущенная, и принимала гостей. В тот вечер среди приехавших к ужину были серьезный юноша по имени Джордж Хоукс, филладельфийский издатель, публиковавший изящные ботанические гравюры, а также книги, журналы и альманахи по ботанике, и Джеймс К. Стакхаус, почтенный пожилой джентльмен, преподаватель Принстонского университета, у которого недавно вышел труд по физиологии негров. Кроме того, обычно с семейством Уиттакеров ужинал Артур Диксон, учитель девочек, молодой человек с бледным лицом, но тот уже показал себя как незавидный собеседник и застольные часы обычно проводил, с беспокойством изучая свои ногти.

Джордж Хоукс, издатель, уже много раз прежде гостил в «Белых акрах» и Альме очень нравился. Он был застенчив, но добр, весьма умен и видом напоминал большого, неуклюжего, шаркающего медведя. Одежда на нем висела, шляпа вечно сидела как-то криво, и он никогда не знал, куда встать. Разговорить Джорджа Хоукса было непросто, но стоило ему начать, и он оказывался собеседником умным и приятным. Никто в Филадельфии не мог похвастаться столь глубокими познаниями в ботанической литографии, а книги его издания были восхи-

тительны. Он с любовью говорил о растениях, художниках и переплетном деле, и Альме его компания была бесконечно приятна.

Что до второго гостя, профессора Стакхауса, тот был у них за ужином впервые и Альме сразу не понравился. Он был по всем признакам зануда, причем настырный. Сразу же после прибытия, еще стоя в атриуме «Белых акров», он оторвал у них двадцать минут, с дотошностью Гомера излагая превратности своего путешествия в повозке из Принстона в Филадельфию. А исчерпав столь занимательную тему, вслух удивился тому, что Альма, Пруденс и Беатрикс будут ужинать с ними, ведь предстоящая беседа уж верно окажется выше их разума.

– О нет, – поправил гостя Генри. – Думаю, вы вскоре убедитесь, что моя супруга и дочери вполне способны поддержать разговор.

– Неужели? – отвечал профессор. – И на какие же темы?

– Хм... – Генри потер подбородок, оглядывая своих домашних, – ну вот Беатрикс, скажем, знает все, Пруденс сильна в музыке и искусстве, а Альма – высокая и крепкая – наш эксперт в ботанике.

– В ботанике, значит, – повторил мистер Стакхаус с крайне снисходительным видом. – Что ж, ботаника – самое подходящее развивающее занятие для девушки. Всегда считал ее единственной наукой, подходящей женскому полу, в связи с тем, что в ней отсутствуют жестокость и математическая точность. Моя собственная дочь премило рисует дикорастущие цветы, между прочим.

– Захватывающее, должно быть, занятие, – буркнула Беатрикс.

– Вполне, – ответил профессор Стакхаус и повернулся к Альме: – Видите ли, дамские пальцы более податливы. Они мягче, чем мужские. Говорят, они лучше годятся для дела столь деликатного, как коллекционирование растений.

Альма, которая вообще-то никогда не краснела, залилась краской до самых корней волос. *Почему этот человек вдруг заговорил о пальцах, о податливости, деликатности, мягкости?* Теперь все смотрели на руки Альмы, которые совсем недавно побывали прямо внутри ее бутона. Это было ужасно. Краем глаза она увидела, как ее старый друг, издатель Джордж Хоукс, улыбается ей с сочувствием. Сам Джордж все время краснел. Он краснел каждый раз, когда кто-то смотрел в его сторону, и каждый раз, когда вынужден был заговорить. Видимо, он сочувствовал неловкому положению Альмы. Когда он взглянул на нее, девушка еще сильнее покраснела. Впервые в жизни она не нашлась что ответить; ей лишь хотелось, чтобы никто на нее не смотрел. Она на все была готова, только бы не идти сегодня к ужину.

К счастью для Альмы, профессора Стакхауса, кажется, не интересовало ничего, кроме его собственной персоны, и, когда подали ужин, он приступил к долгому и подробному рассказу о своих исследованиях, точно по ошибке принял «Белые акры» за аудиторию Принстонского университета, а своих хозяев – за студентов.

– Есть ученые, – заговорил он, закончив сложные манипуляции по складыванию салфетки, – которые не так давно предположили, что темный цвет кожи негроидов является всего лишь кожным заболеванием и его можно *смыть*, применяя определенную комбинацию химических веществ. Таким образом, негр превратится в здорового белого человека. Это не так. Как доказали мои исследования, негр – это не больной белый человек, а особый вид, что я и намерен продемонстрировать...

Альме было трудно его слушать. Все ее мысли были о *Cum Grano Salis* и событиях в переплетной, имевших место всего час назад. Заметим, что то был не первый раз, когда Альма Уиттакер услышала о гениталиях или человеческой сексуальности. В отличие от других девочек, которым родные рассказывали, что детей приносят индейцы или что беременность наступает, когда в небольшой надрез в животе женщины помещают семечко, Альма знала основы человеческой анатомии, как женской, так и мужской. При таком количестве медицинских трактатов и научных трудов в «Белых акрах» трудно было остаться в неведении в подобных вопросах.

Мало того, вся ботаническая лексика, с которой Альма была близко знакома, была пронизана сексуальным смыслом. (Сам Линней называл опыление «браком», лепестки цветков – «пологом на благородной постели», а цветок с девятью тычинками и одним пестиком один раз смело сравнил с «девятью мужчинами в спальне одной невесты»).

Вдобавок Беатрикс никогда не допустила бы, чтобы ее дочери росли наивными дурочками, тем самым подвергая себя опасности, в особенности с учетом сомнительного прошлого матери Пруденс. Поэтому она самолично, отчаянно запинаясь, страдая от неловкости и лихорадочно обмахивая шею, объяснила Альме и Пруденс суть процесса размножения у людей. Этот разговор никому не доставил удовольствия, и каждый из участников стремился покончить с ним как можно скорее, но, по крайней мере, информация дошла по назначению. Однажды Беатрикс даже предупредила Альму, что есть части тела, к которым ни в коем случае нельзя прикасаться, кроме как для омовения, а в уборной никогда не следует задерживаться дольше положенного из-за риска предаться одиночным безнравственным занятиям. Тогда Альма не придавала ее словам особого значения, так как предостережение показалось ей бессмысленным: в самом деле, ну кому придет в голову *задерживаться в уборной* дольше положенного?

Но открыв для себя *Cum Grano Salis*, Альма вдруг поняла, что по всему миру каждую минуту происходят странные и самые невообразимые вещи, связанные с сексом. Мужчины и женщины проделывают друг с другом поистине удивительные трюки, и делают это не только для размножения, но и для развлечения. То же делают мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, дети, слуги, фермеры и путешественники, моряки и швеи, а иногда даже законные супруги! Как Альма только что убедилась в переплетной, этим можно заниматься даже самим с собой. С тонким слоем орехового масла или без.

Интересно, а другие это делают? Не только гимнастические трюки с проникновением – ласкают ли они себя, когда никто не видит? Автор *Cum Grano Salis* писал, что многие этим занимаются – если верить его словам и опыту, даже леди благородного происхождения. А Пруденс? Делает ли она так? Знакомы ли ей влажные лепестки, огненный вихрь и вспышка яркого света? Представить такое было невозможно, ведь Пруденс, кажется, даже не потела. У Пруденс по лицу трудно было понять, что она чувствует, не говоря уж о том, чтобы догадаться, что прячется у нее под одеждой или таится в голове.

А Артур Диксон, учитель? Мелькает ли в его голове что-то, помимо скучной учебы? Способно ли его тело на что-то, кроме тика и беспрестанного сухого кашля? Она уставилась на Артура, выискивая в нем какие-нибудь признаки сексуальной жизни, но в его фигуре и лице ничего такого не было. Альма представить не могла его трепещущим в экстазе вроде того, что только что испытала в переплетной. Она с трудом представляла его лежащим и уж точно не могла вообразить его без одежды! Этот человек как будто уже родился, сидя на стуле, в застегнутом на все пуговицы жилете и шерстяных бриджах, с толстой книжкой в руках и несчастными вздохами на устах. Если у него есть позывы, где и когда он им предается?

Альма вдруг почувствовала прикосновение прохладной руки. Рука принадлежала ее матери.

– А ты что думаешь, Альма, о трудах профессора Стакхауса?

Беатрикс знала, что Альма не слушала. *Откуда она узнала? Что еще ей известно?* Альма быстро собралась и мысленно вернулась к началу ужина, пытаясь вспомнить те несколько фраз, что все-таки не пролетели мимо ее ушей. И ничего не вспомнила, что было ей крайне несвойственно. Откашлявшись, она проговорила:

– Мне бы хотелось прочесть книгу профессора Стакхауса целиком, прежде чем выступить с какими-либо суждениями.

Беатрикс резко взглянула на дочь, ее взгляд был удивленным, критичным и недовольным.

Однако профессор Стакхаус воспринял замечание Альмы как приглашение продолжать – на самом деле он попросту принялся пересказывать присутствующим за столом дамам почти

всю первую главу своей книги по памяти. Обычно Генри Уиттакер не допускал подобных проявлений занудства в своей гостиной, но по его лицу Альма поняла, что отец устал и обессилен и, видимо, находится на пороге одного из своих приступов. Надвигающийся приступ болезни был единственным, что могло заставить отца притихнуть, как сейчас. Если Альма угадала правильно – а она прекрасно знала отца и ошибиться не могла, – завтра он уже не сможет встать с кровати и, скорее всего, пролежит всю неделю. Пока же терпеть занудные разглагольствования профессора Генри помогал кларет, который он щедро себе подливал; кроме того, он подолгу сидел с закрытыми глазами.

Альма тем временем пристально изучала Джорджа Хоукса, издателя книг по ботанике: а он, интересно, этим занимается? Гладит себя, чтобы достичь пика наслаждения? Автор *Cum Grano Salis* писал, что мужчины занимаются онанизмом еще чаще женщин. По его словам, молодой, здоровый и активный юноша способен был довести себя до эякуляции несколько раз в день. Джорджа Хоукса трудно было назвать активным, но он был молод, обладал большим, тяжелым телом и потел – его тело, по крайней мере, было на что-то способно. Занимался ли этим Джордж недавно, может, даже сегодня? А что сейчас происходит с его членом? Лежит ли он себе спокойно? Или его вот-вот охватит желание?

И тут вдруг случилась самая невероятная вещь.

Пруденс Уиттакер *заговорила*.

– Прошу прощения, сэр, – сказала она, обращаясь к профессору Стакхаусу и устремив на него свой кроткий взгляд, – коль скоро я поняла вас правильно, вам удалось определить, что разная текстура человеческого волоса свидетельствует о том, что негры, индейцы, азиаты и белые относятся к разным видам. Но ваше предположение, признаться, вызывает у меня сомнения. В этом самом поместье, сэр, мы разводим несколько разновидностей овец. Вероятно, вы видели их, когда ехали по дороге нынче вечером. У некоторых наших овец шерсть шелковистая, у других – грубая, а есть те, что покрыты густыми курчавыми завитками. Но, сэр, вы никогда не усомнились бы в том, что перед вами овцы, невзирая на эту разницу. И прошу меня простить, но мне также кажется, что эти породы овец вполне успешно скрещиваются. Не то же ли самое с людьми? Разве подобный аргумент не является основанием полагать, что негры, индейцы, азиаты и белые представляют собой один вид?

Все взоры устремились на Пруденс. Альме показалось, будто ее, сонную, облили ледяной водой. Генри открыл глаза. Он поставил фужер и сел прямо, весь внимание. Сторонний вряд ли бы заметил, но и Беатрикс чуть выпрямилась на своем стуле, точно приготовилась слушать более внимательно. Артур Диксон, учитель, взглянул на Пруденс, встревоженно округлив глаза, а затем немедленно стал нервно озираться, словно в этой внезапной вспышке могли обвинить его. И действительно, было чему удивляться. Ведь это была самая длинная речь, которую когда-либо произносила Пруденс, и не только за обеденным столом, но *вообще*.

К сожалению, Альма не следила за беседой и потому не знала в точности, было ли утверждение Пруденс верным и относящимся к делу, – но, Господи Иисусе, она заговорила! Все были поражены, за исключением самой Пруденс, глядевшей на профессора Стакхауса с обычной своей прелестной невозмутимостью, как ни в чем не бывало, широко раскрыв ясные голубые глаза и ожидая ответа. Как будто каждый день ей приходилось спорить с важными лекторами из Принстона.

– Нельзя сравнивать людей и овец, юная леди, – возразил профессор Стакхаус. – Лишь на том основании, что животных можно скрестить... хм... если ваш отец позволит поднять эту тему в присутствии дам... – Генри, который теперь слушал довольно внимательно, махнул рукой в знак одобрения, повелевая профессору продолжать. – Одно лишь то, что животных можно скрестить, не означает их принадлежность к одному виду. Как вы наверняка знаете, лошади скрещиваются с ослами. То же касается канареек и зябликов, петухов и куропаток и козлов с овцами. Что не делает эти виды биологически эквивалентными друг другу! Кроме

того, доподлинно известно, что у негров живут иные разновидности волосяных вшей и кишечных паразитов, чем у белых, и это, бесспорно, свидетельствует о том, что речь идет о двух разных видах.

Пруденс вежливо кивнула гостю.

– Я была неправа, сэр, – проговорила она. – Молю вас, продолжайте.

Альма по-прежнему не могла раскрыть рта и пребывала в недоумении. *Зачем они завели этот разговор о размножении? И почему именно сегодня?*

– В то время как разница между расами очевидна даже ребенку, – продолжал профессор Стакхаус, – в превосходстве белой расы не усомнится никто, у кого имеются малейшие познания в истории и происхождении человека. Мы, тевтоны, унаследовали от павшей Римской империи бесценный дар цивилизации и вскоре нашли приют в христианстве. В результате наша раса почитает добродетель, здоровые устои, бережливость и мораль. Мы способны владеть нашими страстями. И потому мы – лидеры. Другие расы отстали от цивилизации и никогда бы не пришли к таким передовым изобретениям, как валюта, алфавит и промышленное производство. Но нет расы более беспомощной, чем негры. У негров чрезмерно развита эмоциональная сфера, что приводит к печально известному у них отсутствию самоконтроля. Подобное преобладание чувственности отражается в строении лица. Слишком крупные глаза, губы, нос и уши – все это свидетельствует о том, что негры бессильны перед наплывом ощущений. Это делает их способными на самую нежную привязанность, но и на худшее из насильственных преступлений. Нравственная осознанность данного вида представляется слабой и замутненной. Кроме того, негры не умеют краснеть, и, следовательно, они неспособны испытывать стыд.

При одном упоминании слов «краснеть» и «стыд» Альма сама покраснела от стыда. Сегодня вечером она полностью утратила контроль над своими чувствами. Джордж Хоукс снова улыбнулся ей с теплотой и симпатией, и она покраснела сильнее. Беатрикс бросила на нее взгляд, полный такого испепеляющего презрения, что Альма на мгновение испугалась, что мать отвесит ей оплеуху. На самом деле ей даже хотелось, чтобы кто-нибудь отвесил ей оплеуху, лишь бы в голове прояснилось.

Тут Пруденс – о чудо! – заговорила снова.

– Но все же интересно, – промолвила она спокойным, бесстрастным тоном, – будет ли самый мудрый из негров превосходить интеллектом самого глупого из белых? Я спрашиваю об этом, профессор Стакхаус, лишь потому, что в прошлом году наш учитель, мистер Диксон, поведал нам о карнавале, свидетелем которого однажды был. Там ему повстречался бывший раб по имени мистер Фуллер из Мэриленда, известный своей быстротой мышления. По словам мистера Диксона, стоило назвать этому негру дату и час своего рождения, и он мог тут же вычислить, сколько *секунд* вы провели на этом свете, сэр, с учетом високосных лет. Несомненно, это была чрезвычайно впечатляющая демонстрация его возможностей.

Артур Диксон, казалось, готов был упасть в обморок.

Профессор, уже не скрывавший своего раздражения, ответил:

– Юная леди, на карнавалах я встречал и мулов, которые умели считать.

– Я тоже, – отвечала Пруденс тем же бесцветным, ровным тоном. – Но мне еще не приходилось встречать мула, который считал бы с учетом високосных лет.

– Как скажете, – проговорил профессор, удостоив Пруденс раздраженного кивка. – В ответ на ваш вопрос замечу, что идиоты и чрезмерно одаренные встречаются среди представителей любого вида. Однако ни то, ни другое не является нормой. Я уже много лет коллекционирую черепа белых и негров и провожу замеры, и на данный момент мои исследования, без всяких сомнений, указывают на то, что череп белого человека, наполненный водой, вмещает в среднем на четыре унции больше жидкости, чем череп негра, что является свидетельством интеллектуального превосходства.

– Но мне все же интересно, – мягко заметила Пруденс, – что случилось бы, попытайся вылить знания в череп живого негра вместо того, чтобы лить воду в череп мертвого?

За столом повисла напряженная тишина. Джордж Хоукс, издатель книг по ботанике, сегодня еще ни разу не заговорил, а уж теперь, видимо, и подавно не собирался. Артур Диксон прикинулся мертвым, что вышло у него очень похоже. Физиономия профессора Стакхауса окрасилась в неподражаемый фиолетовый оттенок. Пруденс же, выглядевшая, как обычно, безупречной фарфоровой куколкой, невинно ждала ответа. Генри Уиттакер смотрел на приемную дочь с выражением, чем-то напоминавшим восхищение, но по какой-то причине предпочел молчать – возможно, он слишком неважно себя чувствовал, чтобы вступать в прямой конфликт, а может, ему просто было любопытно, куда заведет эта крайне неожиданная беседа. Альма также не проронила ни слова. По правде говоря, ей было нечего добавить. Никогда еще у нее не было так мало слов, а Пруденс, напротив, никогда не была столь красноречива. Поэтому ответственность восстановить беседу за обеденным столом пала на Беатрикс, и та сделала это с типичным для голландки несгибаемым чувством долга.

– Профессор Стакхаус, – проговорила она, – я с огромным интересом взглянула бы на те исследования, о которых вы упомянули ранее, – о различных разновидностях волосяных вшей и кишечных паразитов, выбирающих своими жертвами негроидов и белых. Возможно, они у вас с собой? Я бы с удовольствием их полистала. Я нахожу паразитарную биологию весьма занимательной.

– Самих работ у меня с собой нет, – отвечал профессор, к которому медленно возвращалось чувство собственного достоинства, – но они мне и не нужны. Документальные свидетельства в данном случае излишни. То, что на негроидах и белых паразитируют разные виды волосяных вшей и глистов, – хорошо известный факт.

Тут присутствующие почти что не поверили своим ушам, потому что Пруденс заговорила снова.

– Какая жалость, – пробормотала она тихим голосом, от звука которого на Альму повеяло холодом, будто она дотронулась до мрамора. – Прошу простить меня, сэр, но в нашем доме нам никогда не позволяют довольствоваться чьими-либо заверениями в том, что факт, как вы говорите, «хорошо известен», в отсутствие подтверждающей документации.

Тут, несмотря на боль и усталость, Генри Уиттакер расхохотался.

– И это, сэр, – прогремел он, обращаясь к профессору, – хорошо известный факт!

Беатрикс как ни в чем не бывало повернулась к дворецкому и провозгласила:

– Пожалуй, уже время подавать десерт.

* * *

Гости должны были остаться на ночь, но профессор Стакхаус был столь смущен и раздосадован случившимся за ужином, что решил вернуться в карете в город, объявив, что предпочел бы переночевать в отеле в центре Филадельфии, чтобы пуститься в нелегкий обратный путь до Принстона уже завтра на рассвете. Никто не расстроился, что он уехал, но Беатрикс, по крайней мере, распрощалась с ним с величайшей учтивостью. Джордж Хоукс попросил у профессора Стакхауса позволения доехать в его карете до центра Филадельфии, и великий ученый неохотно согласился. Но перед отъездом Джордж попросил разрешения ненадолго остаться наедине с Альмой и Пруденс. За весь вечер он не произнес почти ни слова, но теперь хотел что-то сказать, причем обоим девушкам. И вот они втроем – Альма, Пруденс и Джордж – удалились в гостиную, пока остальные суетились в атриуме, забирая плащи и коробки.

Дождавшись загадочного и едва заметного кивка от Пруденс, Джордж обратился к Альме.

– Мисс Уиттакер, – промолвил он, – ваша сестра поведала мне, что исключительно ради удовлетворения собственного любопытства вы написали весьма интересный труд о поддельни-

ках. Если вы не слишком устали сегодня, не соизволите ли поделиться со мной своими основными находками?

Альма опешила. Что за странная просьба, да и еще в такой час?

– Вы, должно быть, сами слишком устали, чтобы слушать о моем увлечении ботаникой в столь поздний час? – спросила она.

– Вовсе нет, мисс Уиттакер, – отвечал Джордж. – С радостью послушаю. Напротив, такие разговоры меня расслабляют.

С этими словами Альма и сама расслабилась. Наконец-то простая тема! Наконец разговор о ботанике!

– Что ж, мистер Хоукс, – начала она, – как вы наверняка знаете, подъельник обыкновенный, он же *Monotropia hypopitys*, произрастает лишь в тени и окрашен в неприятно белый цвет, почти потусторонне белый. Прежде натуралисты всегда считали, что подъельник лишен пигментации из-за отсутствия солнечного света в своей среде, однако эта теория представляется мне бессмысленной, ведь в тени также можно обнаружить самые яркие оттенки зелени, например у папоротников и мхов. Кроме того, в своих исследованиях я обнаружила, что подъельники тянутся к солнцу, но клонятся *в противоположную сторону*, и это навело меня на мысль, что, возможно, это растение вовсе не питается солнечными лучами, а берет пищу из другого источника. И я пришла к выводу, что подъельники живут за счет видов, рядом с которыми произрастают. Другими словами, я считаю подъельник растением-паразитом.

– Что возвращает нас к теме, которая нынче уже обсуждалась, – с легкой улыбкой заметил Джордж.

Боже правый, Джордж Хоукс шутит! Альма не знала, что он на такое способен, но, поняв его шутку, восторженно рассмеялась. Пруденс не смеялась, она просто сидела, глядя на них двоих, красивая и далекая, как картинка.

– Да, пожалуй! – воодушевленно отвечала Альма. – Но, в отличие от профессора Стакхауса и его волосяных вшей, у меня есть документальное подтверждение. Разглядывая подъельник под микроскопом, я заметила, что в его стебле отсутствуют кутикулярные поры, при помощи которых воздух и вода обычно проникают в другие растения; кроме того, у него, видимо, нет механизма извлечения влаги из почвы. Полагаю, *Monotropia* берет питание и влагу у растения-хозяина. А трупная бледность *Monotropia* объясняется тем, что этот вид употребляет пищу, которая уже была переварена организмом, на котором он паразитирует.

– Совершенно поразительная теория, – сказал Джордж Хоукс.

– На данный момент это всего лишь теория. Возможно, однажды химики сумеют доказать то, что мой микроскоп пока лишь предполагает.

– Не могли бы вы показать мне свой труд на этой неделе? – спросил Джордж. – Я бы хотел обдумать возможность его публикации.

Альму настолько пленило это неожиданное предложение (и так она была взбудоражена событиями сегодняшнего дня и взволнована тем, что говорит напрямую со взрослым мужчиной, с которым связаны были ее мысли), что она даже не обратила внимания на то, что во всей этой беседе был один крайне странный элемент, а именно присутствие ее сестры Пруденс. Зачем она вообще здесь? Почему Джордж Хоукс дожидался ее кивка, чтобы начать говорить? И когда – в какой неизвестный момент ранее сегодня вечером – у Пруденс была возможность поговорить с Джорджем Хоуксом о частных ботанических изысканиях Альмы?

В любой другой вечер вопросы эти поселились бы у Альмы в голове и терзали бы ее любопытство, однако сегодня она от них отмахнулась. Сегодня, в завершение самого странного и безумного дня ее жизни, в уме Альмы вертелось и прыгало столько других мыслей, что она все эти знаки просмотрела. Сбитая с толку, уставшая, со слегка кружившейся головой, она пожелала Джорджу Хоуксу спокойной ночи и села в гостиной с сестрой в ожидании, когда придет Беатрикс и устроит им выговор.

При одной мысли о Беатрикс эйфория Альмы слегка пошла на спад. Ежедневное перечисление изъянов своих дочерей, которое устраивала им Беатрикс, никогда не приносило ей удовольствия, но сегодня Альма страшилась ее нотаций больше обычного. В тот день она сделала столько всего такого (нашла книгу, испытала сексуальное возбуждение и в одиночку предалась страстям в переплетной), что ей казалось, будто у нее на лице написано, до чего ей стыдно. Она боялась, что Беатрикс все почувствует. Вдобавок сегодняшняя застольная беседа обернулась катастрофой: Альма выглядела откровенной тупицей, а Пруденс – беспрецедентный случай – почти нагрубила гостю. Беатрикс ими обеими будет недовольна.

Альма и Пруденс ждали мать в гостиной, тихие, как монашки. Оставаясь вдвоем, девушки всегда молчали. Им ни разу не удалось найти приятную и легкую тему для беседы. Они никогда не болтали по пустякам. Так будет всю жизнь. Пруденс сидела тихо, сложив руки, а Альма теребила край платка. Альма взглянула на Пруденс, выискивая что-то в ее лице – что именно, она не знала. Дружеские чувства, наверное. Тепло. Что-нибудь, что бы их сблизило. Возможно, общее воспоминание о событиях сегодняшнего вечера. Но Пруденс, как всегда, холодно блистала своей неземной красотой, не располагая к душевному общению. Несмотря на это, Альма внезапно нарушила тишину, позволив откровенному неосторожному вопросу сорваться с губ.

– Пруденс, – спросила она, – а какого ты мнения о мистере Джордже Хоуксе?

– По-моему, он порядочный джентльмен, – отвечала Пруденс.

– А мне кажется, я отчаянно в него влюблена! – выпалила Альма, шокировав даже себя этим абсурдным неожиданным признанием.

Но не успела Пруденс ответить – если бы, конечно, она вообще собиралась отвечать, – как в комнату вошла Беатрикс и смерила взглядом дочерей, сидящих на диване. Долгое время Беатрикс молчала. Она стояла, пригвоздив девушек к полу суровым немигающим взглядом и изучая сперва одну, потом другую. Это напугало Альму сильнее, чем все когда-либо прочитанные ей нотации, ибо молчание таило безграничные и ужасающие последствия – одному Богу было известно, что знает Беатрикс. Она обо всем может догадываться и все знать. Альма растерзала край платка в бахрому. Пруденс же как сидела, так и осталась сидеть.

– Я сегодня устала, – произнесла Беатрикс, наконец нарушив зловещую тишину. – У меня нет сил, Альма, говорить о твоих недостатках. Это лишь ухудшит мое состояние. Скажу одно: если я еще хоть раз увижу, как ты сидишь за столом разинув рот и витаешь в облаках, как сегодня, ты будешь ужинать в другом месте.

– Но мама... – начала Альма.

– Не оправдывайся, дочь. Это жалко выглядит.

Беатрикс повернулась к двери, чтобы выйти из комнаты, но затем взглянула на Пруденс, словно только что вспомнив о чем-то важном.

– Пруденс, – проговорила она, – сегодня ты была великолепна.

Это было совершенно из ряда вон. Беатрикс никогда их не хвалила. С другой стороны, сегодняшний день весь был из ряда вон. Потрясенная Альма снова повернулась к Пруденс и опять попыталась разглядеть что-то в ее лице. Понимание? Сочувствие? Они могли хотя бы удивленно переглянуться. Но лицо Пруденс ничего не выражало, и на Альму она не посмотрела. Тогда Альма прекратила попытки. Она встала с дивана, взяла свечу и шаль и направилась к лестнице. Но у нижней ступени повернулась к Пруденс и снова сама себя удивила.

– Спокойной ночи, сестренка, – сказала она. Раньше она никогда ее так не называла.

– И тебе. – Это было единственное, что промолвила Пруденс в ответ.

Глава восьмая

В период с зимы 1816 года до осени 1820-го Альма Уиттакер написала более трех дюжин работ для Джорджа Хоукса; все они были опубликованы в его ежемесячном журнале *Botanica Americana*. Ни один из ее трудов нельзя было назвать революционным, однако ее идеи были интересны, иллюстрации безошибочны, а научная база основательна и крепка. И пусть ее работы не воспламенили мир, они воспламенили Альму, и для страниц *Botanica Americana* ее старания оказались более чем подходящими.

Альма подробно описывала лавр, мимозу и вербену. Писала о винограде и камелиях, о миртолистном померанце и искусственном выращивании фиг. Публиковалась она под именем «А. Уиттакер». Они с Джорджем Хоуксом сошлись во мнении, что, если она откроет читателям свой пол, это не пойдет ей на пользу. В научном мире того времени все еще существовало строгое деление на «ботанику» (изучение растений мужчинами) и «изящную ботанику» (изучение растений дамами). При этом «изящная» ботаника порой ничем не отличалась от обычной, но ко второй, в отличие от первой, относились с уважением. Альма не хотела, чтобы от нее отнекивались как от ботаника «изящного».

Разумеется, в мире науки и растений все знали имя Уиттакеров, и большому числу ботаников было хорошо известно, кем был этот «А. Уиттакер». Но кое-кто все же об этом не знал. В ответ на свои публикации Альма иногда получала письма от ботаников с различных концов света, их присылали на адрес типографии Джорджа Хоукса. И некоторые из этих писем начинались со слов «дорогой сэръ». Другие были адресованы «мистеру А. Уиттакеру». А в одном одно особо запомнившемся ей послании к ней обращались как к «доктору А. Уиттакеру». (Это письмо Альма долго хранила – неожиданный почтенный титул щекотал ее самолюбие.)

Поскольку Джордж и Альма занялись совместными исследованиями и стали вместе редактировать научные работы, он стал в «Белых акрах» еще более частым гостем. К счастью, со временем он избавился от своей застенчивости. Теперь его часто можно было услышать за обеденным столом, а иногда он даже пробовал шутить.

Что до Пруденс, та больше за столом рта ни раскрыла ни разу. Ее выступление по поводу негров в вечер приезда профессора Стакхауса, должно быть, было спровоцировано каким-то случайным приступом лихорадки, потому что такого больше никогда не повторялось и ни разу она не осмеливалась противоречить гостю. С того вечера Генри повадился беспощадно подтрунивать над Пруденс в связи с ее воззрениями, называя ее «нашим заступником черномазых», но она отказывалась говорить на эту тему. Вместо этого она снова замкнулась в себе и стала, как и раньше, холодной, отстраненной и загадочной, ко всем и вся относясь с одинаковой безразличной учтивостью, за которой невозможно было разобрать ее истинные чувства.

Шло время. Девочки выросли. Когда им исполнилось по восемнадцать, Беатрикс наконец прекратила их занятия, объявив, что их образование завершено, а бедного, бледного, покрытого оспинами зануду Артура Диксона отослала прочь, и он стал профессором классических языков в Пенсильванском университете. Это, видимо, означало, что девочки больше не считались детьми. На этом месте любая мать, не будь она Беатрикс Уиттакер, посвятила бы себя поиску для них подходящих супругов. Любая мать, не будь она Беатрикс Уиттакер, честолюбиво представила бы Альму и Пруденс обществу и поощряла бы флирт, танцы и ухаживания. Это было также подходящее время для заказа новых платьев и портретов, а также создания взрослых причесок. Однако Беатрикс и в голову не пришло всем этим заниматься.

По правде говоря, Беатрикс никак не способствовала удачному замужеству своих дочерей. Были в Филадельфии даже те, кто поговаривал, будто Уиттакеры сделали своих дочерей вовсе не пригодными для брака, обеспечив им столь хорошее образование и изоляцию от лучших семей. Ни у Альмы, ни у Пруденс не было друзей. Они ужинали лишь в компании взрос-

лых ученых мужей и торговцев, поэтому в их душевном воспитании зиял явный пробел. Их никто никогда не учил, как правильно разговаривать с юными поклонниками. Альма относилась к тому роду девушек, которые, случись заезжему юноше выразить свое восхищение водяными лилиями в одном из прекрасных прудов «Белых акров», отвечали бы: «Да нет же, сэр, вы неправы. Это не водяные лилии, а лотосы. Видите ли, водяные лилии плавают на поверхности воды, в то время как лотосы возвышаются над ее поверхностью. Стоит уяснить разницу, и вы никогда больше не ошибетесь».

Альма стала высоченной, как мужчина, и широкоплечей. У нее был вид человека, с легкостью орудующего топором. (Между прочим, она действительно с легкостью орудовала топором, и делала это частенько во время своих ботанических вылазок.) Строго говоря, одно лишь это никак не препятствовало ее возможному замужеству. Некоторым мужчинам нравились рослые женщины, чья дородность свидетельствовала о сильном характере, а Альма кому-то могла бы показаться даже симпатичной, а когда поворачивалась левой стороной, уж точно. И нрав у нее был приятный и дружелюбный. Однако в ней недоставало какого-то невидимого, но необходимого ингредиента, и, несмотря на откровенный эротизм, скрывавшийся внутри ее тела, ее присутствие в комнате ни одному мужчине не внушало мыслей о любви или страсти.

Возможно, проблема была в том, что сама Альма считала себя несимпатичной. А считала она так, вероятно, потому, что ей много раз об этом сообщали самыми разными способами. Совсем недавно она услышала новость о своей некрасивости из уст собственного отца, который однажды вечером, напившись рома, ни с того ни с сего заявил:

– Да не переживай ты так, Сливка!

– Переживать из-за чего, отец? – спросила Альма, оторвавшись от письма, которое для него писала.

– Не волнуйся, Альма. Милое личико – это еще не все. Многих женщин любят, а они отнюдь не красавицы. Взять хотя бы твою мать. Никогда в жизни красивой не была, а мужа нашла, а? А миссис Кэвендеш, что у моста живет? Ты же сама ее видела: не женщина, а пугало, – но муж, видать, доволен, раз заделал ей семерых ребятишек. Вот и для тебя кто-нибудь да найдется, Сливка, и по мне, так ему сказочно повезет, что ты ему достанешься.

И этим он пытался ее утешить. Подумать только!

Что касается Пруденс, то о ее красоте было широко известно – ее, пожалуй, даже считали самой красивой девушкой в Филадельфии. Но весь город соглашался, что она холодна как лед и завоевать ее расположение невозможно. Пруденс вызвала зависть у женщин, но было неясно, способна ли она была вызвать страсть у мужчины. Она умела внушить мужчинам чувство, что к ней бесполезно даже приближаться, и те осмотрительно не приближались. Они смотрели на нее, ведь не смотреть на Пруденс Уиттакер было невозможно, – смотрели, но близко не подходили.

Можно было бы также подумать, что сестры Уиттакер привлекли бы охотников за наследством. Разумеется, нашлось немало молодых людей, жаждавших прикоснуться к состоянию Уиттакеров, но перспектива стать зятем Генри Уиттакера, видимо, отпугивала даже самых корыстных. А может, люди просто не верили, что Генри когда-либо согласится расстаться со своими деньгами. Как бы то ни было, даже надежда на богатое наследство не притягивала в «Белые акры» женихов.

Разумеется, в поместье всегда было много мужчин, но они приезжали к Генри, а не к его дочерям. В любое время дня в атриуме «Белых акров» можно было встретить самых разных мужчин, надеявшихся удостоиться аудиенции у Генри Уиттакера. Кого там только не было: отчаявшиеся, мечтатели, разгневанные и лжецы. Они приезжали в поместье с образцами товара, изобретениями, чертежами, проектами и судебными исками. Предлагали акции, молили о займах, демонстрировали прототип нового вакуумного насоса или сулили найти вер-

ное лекарство от желтухи, если Генри вложит деньги в их исследования. Но никто из них не приезжал в «Белые акры», чтобы предаться приятному делу ухаживания.

Джордж Хоукс был не похож на остальных. Он никогда и ничего не просил у Генри и приезжал в «Белые акры», чтобы только поговорить с ним и полюбоваться диковинками в оранжереях. Генри нравилось общество Джорджа, поскольку тот публиковал в своих журналах последние научные открытия и знал обо всем, что происходило в мире ботаники. Джордж не вел себя как жених – он не умел ни флиртовать, ни быть игривым, – но, по крайней мере, замечал сестер Уиттакер и был к ним добр. Он всегда был внимателен к Пруденс. С Альмой же общался так, словно она была уважаемым коллегой-ботаником. Альма ценила доброе отношение Джорджа, но желала большего. Молодые люди не говорят с любимыми девушками академическим языком, в этом она не сомневалась. И это ее несказанно расстраивало, ведь Альма Уиттакер вскоре полюбила Джорджа Хоукса всем сердцем.

Ее выбор был странным. Джорджа нельзя было назвать красивым, но в глазах Альмы он был лучше всех. Ей казалось, что из них выйдет хорошая пара, пожалуй даже, *очевидная* пара. Джордж, несомненно, был слишком велик, бледен, неуклюж и неповоротлив, но то же самое можно было сказать и об Альме. Он всегда одевался как попало, но и Альма не была модницей. Жилеты всегда были ему тесны, а брюки болтались, но, будь Альма мужчиной, она одевалась бы точно так же: ей всегда было так же сложно подобрать подходящий костюм. Еще у Джорджа были слишком большой лоб и маленький подбородок, зато он был обладателем прекрасных, вечно мокрых, пышных и темных волос, к которым Альме так хотелось прикоснуться.

Стоит ли говорить, что Альма не умела изображать кокетку, поэтому с Джорджем и не кокетничала. Она понятия не имела, как его завлечь; единственное, что ей оставалось, – писать одну работу за другой, исследуя все неизученные ботаниками темы. Между Джорджем и Альмой был лишь один момент, который можно было бы считать за проявление нежности. В апреле 1818 года Альма продемонстрировала Джорджу Хоуксу красивейшую инфузорию *Carchesium polypinum* (хорошо подсвеченная и живая, с вращающимися чашечками, развевающимися ресничками и бахромчатыми цветущими рожками, она весело танцевала под микроскопом в маленькой лужице воды из пруда). Джордж схватил ее левую руку, в порыве чувств сжал ее двумя своими большими влажными ладонями и проговорил:

– Святые небеса, мисс Уиттакер! Вы стали блестящим микроскопистом!

Это прикосновение, это пожатие рук, этот комплимент заставил сердце Альмы забиться с жуткой частотой. Кроме того, час спустя она бросилась напрямиком в переплетную, чтобы снова утолить свой голод собственными руками.

О да, она снова бежала в переплетную!

С той самой осени 1816 года переплетная стала местом, куда Альма Уиттакер наведывалась ежедневно, а иногда даже несколько раз в день, делая перерыв лишь на время менструации. Вы спросите, когда она находила время на эти дела, ведь у нее было столько других занятий и обязательств, но, попросту говоря, она просто *не могла этого не делать*. Тело Альмы – рослое и мужеподобное, прочное и веснушчатое, с крупными костями и толстыми суставами, квадратными бедрами и жесткой грудью, – это самое тело с годами превратилось в сплошной сексуальный орган, хотя на вид этого было никак не сказать. Жажда обуревала ее постоянно.

За эти годы она прочла *Cum Grano Salis* столько раз, что строки этого трактата запечатлелись в ее памяти огненными буквами; затем она перешла к другим откровенным книгам. Стоило отцу снова купить чужую библиотеку, как Альма принималась разбирать книги с пристальным вниманием, вечно высматривая что-нибудь опасное, с обложкой, под которой пряталась другая, запретное чтиво, затерявшееся среди более невинных томов. Так она обнаружила Сапфо и Дидро, а также несколько порядком взволновавших ее переводов японских эротических учебников. Ей также попала французская книга о двенадцати сексуальных приключениях, которые были поделены на месяцы и названы *L'année Galante* («Галантный год»); в ней

говорилося о развратных содержанках и сластолюбивых священниках, падших балеринах и соблазненных гувернантках. (О эти многострадальные соблазненные гувернантки! Их подвергали соблазнам и насилию дюжинами! Они появлялись на страницах всех эротических книг! Зачем вообще становиться гувернанткой, не понимала Альма, если тебя все равно ждет лишь надругательство и удел сексуальной рабыни?) Альма даже прочла руководство для участниц тайного Лондонского клуба мазохисток и бесчисленные рассказы о древнеримских оргиях и непристойных религиозных ритуалах индуистов. Все эти книги она откладывала в сторону и прятала в сундуках на сеновале в каретном флигеле.

Но это было еще не все. Альма также штудировала медицинские журналы, где порой находились самые странные и невероятные сообщения о возможностях человеческого тела. Так она ознакомилась с теориями о возможном гермафродитизме Адама и Евы, излагаемых вполне научным языком. Прочла академический отчет о волосах, росших на гениталиях в таком необычном количестве, что их можно было состригать и продавать на парики. Узнала статистику заболеваний проституток в районе Бостона. Прочла отчеты мореплавателей, утверждавших, что они совокуплялись с русалками. Изучила сравнительный анализ размеров мужского члена у представителей различных рас и культур и у всевозможных видов млекопитающих.

Она знала, что ей не стоит читать о подобных вещах, но остановиться не могла. Ей хотелось знать обо всем, что можно узнать. В результате этого чтения в голове ее возник настоящий цирковой парад человеческих тел – голые и избиваемые кнутами, падшие и униженные, страдающие от желаний и обезумевшие (но лишь для того, чтобы позже вернуть свой разум и подвергнуться новым унижениям). У нее также появилось навязчивое желание класть в рот различные вещи – точнее, вещи, которые настоящим леди никогда не должно захотеться класть в рот. Части тела других людей, к примеру. И в особенности мужской член. Она желала ощутить во рту мужской член даже больше, чем внутри своего бутона, потому что ей хотелось познакомиться с ним как можно ближе. Она любила изучать вещи вблизи, а лучше – под микроскопом, вот и мечтала увидеть и даже попробовать самую сокровенную часть мужского тела – его тайное вместилище бытия. Мысли об этом, вкуче с повышенной чувствительностью ее собственных губ и языка, превращались в терзавшую ее одержимость, которая накапливалась таком количестве, что сил не было терпеть. Решить эту проблему можно было лишь при помощи пальцев и только в переплетной – в укромной обволакивающей тьме, где витали знакомые запахи кожи и клея, а на двери был надежный и крепкий замок. И она решала ее, засунув одну руку между ног, а другую – в рот.

Альма знала, что мастурбировать нехорошо. Порочность слышалась даже в самом происхождении этого слова, означавшего «осквернение рукой». (Тут она не порадовалась, что знает латынь.) Но снова она не смогла удержаться от привычки узнавать обо всем и изучила предмет, а то, что узнала, ее не обнадежило. В одном британском медицинском журнале она прочла, что дети, растущие на свежем воздухе и питающиеся здоровой пищей, никогда не должны испытывать ни малейших сексуальных ощущений в теле, а также интересоваться сведениями о чувственных наслаждениях. Простые удовольствия сельской жизни, утверждал автор, сами по себе являются достаточным развлечением для молодых людей, и тех не должно обуревать желание исследовать свои гениталии. В другом медицинском журнале она вычитала, что спровоцировать преждевременный сексуальный интерес могут ночное недержание мочи, слишком много побоев в детстве, раздражение ануса глистами или (тут у Альмы перехватило дыхание) «преждевременное интеллектуальное развитие». Вот это, должно быть, с ней и произошло, подумала она. Ведь если ум в детском возрасте чрезмерно стимулировать, извращения не замедлят себя ждать, и жертва, потворствуя своим желаниям, будет искать замену половому акту. Альма прочла, что в основном эта проблема касается мальчиков, однако в редких случаях проявляется и у девочек. И к ней стоило отнестись со всей серьезностью. Ведь, повзрослев и вступив в брак,

молодые люди, занимавшиеся самоублажением, начинали мучить своих супругов, принуждая их к соитию каждый день, и так до тех пор, пока семья в результате не становилась жертвой болезни, разрухи и банкротства. Мастурбация также губительно сказывалась на физическом здоровье и приводила к горбатости и хромоте.

Другими словами, привычка эта не пользовалась доброй славой. Однако Альма первоначально не собиралась делать самоублажение привычкой. Она совершенно честно и искренне клялась все прекратить. По крайней мере, поначалу. Она обещала себе прекратить читать непристойные книги. Обещала перестать предаваться чувственным фантазиям о Джордже Хоуксе и его мокрой копне темных волос. Нет, она никогда больше не будет представлять, как кладет себе в рот его член. Она клялась никогда больше не ходить в переплетную, даже если понадобится «починить» книгу!

Но, разумеется, решимость ее неизбежно ослабевала. Она клялась, что наведается в переплетную всего лишь еще раз. Всего лишь раз позволит будоражащим порочным мыслям проникнуть себе в голову. Всего лишь раз ее пальцы закружатся по спирали под юбкой и во рту, и она почувствует, как сжимаются ноги и горячет лицо, а тело рвется на свободу в вихре чудесного, ужасного, безудержного хаоса. Всего лишь раз.

А потом, может быть, еще раз...

Вскоре стало ясно, что бороться с этим она не может, и у Альмы не осталось иного выбора, кроме как втайне позволить себе подобное поведение и продолжать посещать переплетную. Как еще ей было справиться с желаниями, которые накапливались в ней каждый день, каждый час? Вдобавок воздействие подобных занятий на ее здоровье и настроение столь сильно отличалось от предостережений в медицинских журналах, что долгое время она задавалась вопросом: *а мастурбирует ли она вообще?* Может, она что-то делает неправильно и по ошибке ее занятия начали приносить пользу, а не вред? Как еще объяснить тот факт, что ее секретное увлечение не обернулось теми страшными последствиями, о которых предупреждали медики? Оно приносило Альме облегчение, а не болезни. Она должна была лишиться жизненных сил, но вместо этого ее щеки окрашивались здоровым румянцем. Безусловно, ее одержимость внушала ей стыд, однако, закончив дело, она чувствовала, что ее охватывает ощущение полной и отчетливой мысленной ясности. Из переплетной она сразу бежала к своей работе и бралась за труд с обновленным осознанием своей задачи; энергичная работа мыслей подталкивала ее к исследованиям, а тело пульсировало целенаправленным восторженным вдохновением. После переплетной ее ум становился, как никогда, острым, как никогда, пробужденным. После переплетной работа всегда кипела.

Кроме того, теперь у Альмы появилось свое рабочее место. У нее теперь был свой кабинет – по крайней мере, место, которое она звала кабинетом. Расчистив каретный флигель от залежей отцовских книг, она взяла себе одно из помещений, ранее использовавшееся для хранения сбруи, и превратила в свою «келью». Это было чудесное место. Каретная «Белых акров» располагалась в красивом кирпичном здании, величественном и светлом, с высокими сводчатыми потолками и широкими стрельчатыми окнами. Кабинет Альмы находился в лучшей из комнат флигеля, где мягкий свет падал с северной стороны, полы были выложены чистой плиткой, а окна выходили на безукоризненный греческий сад ее матери. В комнате пахло сеном и пылью и в приятном беспорядке лежали книги, сита, тарелки, кастрюли, саженцы, письма, банки и старые жестянки из-под печенья. На девятнадцатилетие мать подарила Альме камеру-лючиду¹⁷, при помощи которой она могла увеличивать и переносить контуры растений на бумагу, добиваясь более точных научных иллюстраций. У нее также появился набор прекрасных итальянских призм, из-за чего она чувствовала себя почти Ньютоном. Еще у нее были

¹⁷ От лат. *camera lucida* («светлая комната») – оптический прибор, снабженный призмой и служащий вспомогательным средством при переносе существующих мотивов на бумагу.

добротный, крепкий письменный стол и широкий простой лабораторный стол для экспериментов. Вместо обычных стульев она приспособила для сиденья старые бочки, так как среди них легче было ходить в кринолинах. У нее также были два превосходных немецких микроскопа, с которыми, как заметил Джордж Хоукс, она научилась обращаться, как искусная вышивальщица. Поначалу зимой в кабинете было не очень приятно (стоял такой холод, что у нее замерзали чернила), но вскоре Альма раздобыла себе маленькую дровяную печь и сама заложила трещины в стенах сухим мхом, и в конце концов ее кабинет стал самым уютным и удобным прибежищем, какое только можно было себе представить, и оставался таким круглый год.

Там, в каретном флигеле, Альма составила свой гербарий, в совершенстве овладела таксономией и взялась за проведение более сложных экспериментов. Свой древний экземпляр «Справочника садовода» Филлипа Миллера она прочла столько раз, что сама книга стала похожа на старую пожухлую листву. Она изучала последние медицинские труды, в которых говорилось о благотворном влиянии дигиталиса¹⁸ на пациентов, страдающих водянкой, и о применении копайского бальзама¹⁹ для лечения венерических заболеваний. Она трудилась, совершенствуя свое искусство ботанической иллюстрации, – ее рисунки так никогда и не стали красивыми, зато всегда были бесподобно точны. Она работала с неустанным усердием; пальцы беззаботно летали над страницами блокнота, а губы шевелились, как в молитве.

В остальной части «Белых акров» жизнь текла, как обычно, в делах и заботах, реализации серьезных коммерческих проектов и конкуренции; но эти два места – переплетная и кабинет в каретном флигеле – стали для Альмы комнатами-близнецами, где она могла найти уединение и вдохновение. Одна была для тела, другая – для ума. Одна была маленькой, без окон; другая – просторной и залитой ослепительным светом. В одной пахло старым клеем; в другой – свежим сеном. В одной вырывались наружу потаенные мысли; в другой – идеи, которые можно было опубликовать, поделившись ими с окружающими. Две эти комнаты существовали в разных зданиях; их разделяли лужайки и сады, а в середине пролегла широкая тропа из гравия. Никто бы никогда не связал их друг с другом.

Но обе этих комнаты принадлежали одной лишь Альме Уиттакер, и в них она оживала.

¹⁸ Другое название – наперстянка.

¹⁹ Смолистый сок южноамериканских деревьев рода копаифера (разновидность бобовых).

Глава девятая

Однажды осенью 1819 года Альма сидела за столом в каретном флигеле и читала четвертый том естественной истории беспозвоночных Жан-Батиста Ламарка, когда увидела в греческом саду матери промелькнувшую фигуру.

Альма привыкла, что мимо по делам проходили работники «Белых акров»; обычно также по лужайке расхаживали куропатка или павлин, но это существо было не рабочим и не птицей. Это была невысокая и аккуратная темноволосая девушка лет восемнадцати, одетая в розовый дорожный костюм, который был ей весьма к лицу. Прогуливаясь по саду, она беззаботно размахивала зонтиком с зеленым кантом и кисточками. Сложно было сказать наверняка, но, кажется, девушка говорила сама с собой. Альма опустила журнал и вгляделась. Незнакомка, кажется, никуда не торопилась; напротив, она отыскала скамью и присела, а потом – что было еще более удивительно – *прилегла* прямо на спину. Альма смотрела и ждала, когда же гостья пошевелится, но та, видимо, заснула.

Все это было очень странно. На той неделе в «Белых акрах» были гости (эксперт по плодоядным растениям из Йеля, немецкий заводчик лошадей и занудный ученый, написавший крупный трактат о тепличной вентиляции), но никто из них не привез с собой дочь. Девушка явно не приходилась родственницей кому-либо из рабочих поместья. Ни один садовник не купил бы своей дочери такой дорогой зонтик, и ни одна дочь садовника не стала бы разгуливать по драгоценному греческому саду Беатрикс Уиттакер с подобной невозмутимостью.

Альма была заинтригована; она оставила работу и вышла на улицу. Осторожно подошла к девушке, не желая ее разбудить, но при ближайшем рассмотрении увидела, что та вовсе не спит, а просто смотрит на небо, разлегшись на кипе своих глянцево-черных кудрей, как на подушке.

– Здравствуйте, – проговорила Альма, глядя на нее сверху вниз.

– О, здравствуйте! – отвечала девушка, ничуть не испугавшись появления Альмы. – А я вот только порадовалась, что нашла эту скамью!

Девушка резко села, лучезарно улыбнулась и похлопала по скамье с собой рядом, приглашая Альму присесть. Альма послушно села, попутно изучая собеседницу. Та, спору нет, выглядела странновато. Издалека она почему-то казалась симпатичнее. Безусловно, фигура у нее была прекрасная, копна блестящих кудрей великолепна, как и премилые симметричные ямочки на щеках, но вблизи было видно, что лицо ее, пожалуй, слишком плоское и круглое, как обеденная тарелка, а зеленые глаза великоваты и чересчур выразительны. Моргала она, не переставая. Все это вместе придавало ей слишком инфантильный, не особо умный и несколько маниакальный вид.

Повернув к Альме свое нелепое лицо, девушка спросила:

– А теперь скажи мне вот что: слышала ли ты, как вчера ночью звенели колокола?

Альма задумалась. Вообще говоря, она действительно слышала звон колоколов вчера ночью. В Западной Филадельфии разгорелся пожар, и колокола били сигнал тревоги, слышимый по всему городу.

– Слышала, – ответила Альма.

Девушка удовлетворенно кивнула, хлопнула в ладоши и сказала:

– Я так и знала!

– Знала, что я слышала колокола?

– Знала, что мне не почудилось!

– Кажется, мы незнакомы, – осторожно проговорила Альма.

– Ах да! Мое имя – Ретта Сноу. Я сюда пешком пришла!

– Пешком? Могу ли я спросить – откуда?

Альма бы не удивилась, если бы девушка ответила: «Со страниц волшебной сказки!», но та лишь бросила: «Оттуда» – и махнула на юг. Альма тут же все поняла. Всего в двух милях от «Белых акров», вниз по реке, строилось новое поместье. Хозяин был богатым торговцем тканями из Мэриленда. А эта девушка, должно быть, его дочь.

– Я так надеялась, что рядом живет девушка моего возраста, – проговорила Ретта. – Сколько тебе лет, прости за откровенность?

– Девятнадцать, – отвечала Альма, хотя чувствовала себя гораздо старше, особенно в сравнении с этой малюткой.

– Необыкновенно! – Ретта снова хлопнула в ладоши. – А мне восемнадцать, и это же совсем небольшая разница, так? Теперь ты должна сказать мне кое-что, и молю, будь честна. Какого ты мнения о моем платье?

– Хм... – Альма о платьях ничего не знала.

– Согласна! – воскликнула Ретта. – Не лучшее из моих платьев, верно? Если бы ты видела остальные, то вовсе бы не сомневалась – у меня есть изумительные платья. Но это не то чтобы совсем невыносимое, как считаешь?

– Хм... – Альма снова не нашлась что ответить.

Но Ретта ей и не дала:

– Ты слишком добра ко мне! Не хочешь обидеть мои чувства! Считай, мы уже подруги! А еще у тебя такой красивый и надежный подбородок. Тебе хочется доверять.

Ретта обняла Альму за талию и опустила голову ей на плечо, нежно уткнувшись ей в шею. В мире не было ни одной причины, почему Альме должно было прийти по вкусу такое поведение. Кем бы ни была Ретта Сноу, одно было очевидно – она абсурдная девица, глупая маленькая свистушка, нелепая и отвлекающая ее от дел. У Альмы была работа, а эта девушка ей мешала. Однако Альму никто раньше не называл подругой. И никто не спрашивал ее мнения о платье. Никто ни разу не восхищался ее подбородком.

Некоторое время они сидели на скамейке, прильнув друг к другу в этом теплом и неожиданном объятии. Затем Ретта отстранилась, взглянула на Альму и улыбнулась, как ребенок, доверчиво и непосредственно.

– Чем займемся? – спросила она. – И как тебя зовут?

Альма рассмеялась, представилась и призналась, что понятия не имеет, чем бы им заняться.

– А есть здесь еще девушки? – спросила Ретта.

– Моя сестра.

– У тебя сестра! Счастливая же ты! Тогда пойдем отыщем ее.

И они пошли; Альма послушно следовала за Реттой. Они бродили по поместью, пока не нашли Пруденс; та рисовала за мольбертом в одном из розариев.

– А ты, должно быть, та самая сестра! – воскликнула Ретта, бросившись к Пруденс с таким видом, будто ей достался приз и этим призом была Пруденс.

Пруденс, как всегда собранная и вежливая, приблизилась к Альме и Ретте, опустила мольберт и учтиво протянула Ретте ладонь для рукопожатия. Встряхнув руку Пруденс с излишним энтузиазмом, Ретта, не стесняясь, смерила ее взглядом, склонив набок голову. Альма сжалась, ожидая, что Ретта сейчас восхитится красотой Пруденс или захочет узнать, как такое возможно, чтобы Альма с Пруденс были сестрами. Ведь об этом спрашивал каждый второй, увидев их рядом впервые. Разве может быть, что у одной сестры фарфоровое личико, а у другой – красное? И как одна может быть столь изящной, а вторая – столь высокой? Быть может, и Пруденс напряглась, ожидая услышать те же привычные и неприятные вопросы. Но Ретту красота Пруденс как будто совсем не заморозила и не испугала; не смутил ее и тот факт, что перед ней были сестры. Они лишь не спеша оглядела Пруденс с головы до ног и восторженно захлопала в ладоши.

– Так значит, теперь нас трое! – воскликнула она. – Какая удача! Понимаете, что нужно было бы сделать, будь мы мальчишками? Пришлось бы подраться друг с другом, устроить борьбу и расквасить друг другу нос. А потом в конце битвы, получив жуткие увечья, решить, что мы друзья навек! Это правда! Я видела, как мальчишки так делали! И, с одной стороны, это звучит жуть как весело, но мне бы так не хотелось портить новое платье, хоть это и не лучшее мое платье, как Альма успела заметить. Поэтому благодарю Бога за то, что мы не мальчишки! А поскольку мы не мальчишки, то можем сразу стать друзьями навек без всяких драк. Согласны? – Ни у кого не было времени согласиться, так как Ретта тут же принялась тараторить дальше: – Тогда решено! Мы – три лучшие подружки! Теперь кто-то должен написать о нас песню. Одна из вас, случайно, не умеет писать песни?

Пруденс и Альма, онемев, переглянулись.

– Тогда я напишу, коль больше некому! – выпалила Ретта, ничуть не смутившись. – Дайте минутку.

Ретта зажмурилась, зашевелила губами и застучала пальцами по талии, словно отсчитывая такт.

Пруденс вопросительно взглянула на Альму; та пожала плечами.

После паузы столь длинной, что показалась бы неловкой кому угодно, кроме Ретты Сноу, девушка открыла глаза.

– Кажется, придумала, – объявила она. – Музыка придется кому-нибудь из вас написать – из меня музыкантша никакая, – но первый куплет я сочинила! По-моему, он идеально отражает нашу дружбу. Что скажете? – Она откашлялась и прочла:

*Мы скрипка, вилка и ложка,
Танцуем с луной в окошке.
Мечтаешь у нас украсть поцелуй?
Тогда поспеши и с нами станцуй!*

Прежде чем Альма успела попытаться расшифровать сей любопытный стишок (точнее, понять, кто из них был скрипкой, кто вилок, а кто ложкой), Пруденс рассмеялась. Это было удивительно, ведь Пруденс не смеялась никогда. У нее был необыкновенный смех – резкий и громкий, совсем не такой, какого ждешь от столь кукольного создания.

– Да кто ты такая? – спросила Пруденс, наконец опомнившись от смеха.

– Я Ретта Сноу, мисс, и я ваш самый новый и самый бесспорный друг.

– Что ж, Ретта Сноу, – отвечала Пруденс, – одно бесспорно – ты спятила!

– Так все говорят, – отвесила Ретта картинный поклон. – И тем не менее я здесь!

* * *

И с этим было не поспорить.

Вскоре «Белые акры» уже невозможно стало представить без Ретты Сноу. В детстве у Альмы однажды была кошечка, которая бродила по поместью и завоевала всеобщее расположение таким же манером. Кошечка – милый маленький зверек с ярко-желтыми полосками – попросту вошла на кухню «Белых акров» одним солнечным днем, потерялась о ноги всех домашних, а потом устроилась у очага, свернувшись клубком и тихонько мурлыкая, с полужакрытыми от удовольствия глазами. Она вела себя так непосредственно и уверенно, что никому не хватило духу сообщить, что ей здесь не место, и, таким образом, очень скоро она нашла здесь свое место.

Ретта вела себя похоже. Она появилась в «Белых акрах» в тот день, уютно устроилась, и не успел никто опомниться, как стала постоянно крутиться под ногами. Никто никогда не

приглашал Ретту, но Ретта, видимо, была не из тех, кому нужны приглашения куда бы то ни было. Она приходила, когда хотела, оставалась, сколько желала, брала все, что ей приглянулось, и уходила, когда была готова.

Жизнь Ретты Сноу была шокирующе, пожалуй, даже завидно бесконтрольной. Ее мать вращалась в высшем обществе, и утренние часы ее были заняты долговременным прихорашиванием, дневные – неспешными визитами к другим дамам, а вечерние сплошь расписаны под благотворительные балы. Отец, человек мягкий, но вечно отсутствующий, купил дочери надежную тягловую лошадь и двуколку, в которой девушка колесила по Филадельфии, полностью предоставленная сама себе. Она коротала дни, гоняя по миру в своей двуколке, как беззаботная жужжащая пчела. Взбреди ей в голову пойти в театр, и она шла в театр. Вздумай она посмотреть на парад, и парад находился. А если уж возникало желание пробыть весь день в «Белых акрах», она делала это и никуда не торопилась.

Весь следующий год Альма встречала Ретту в самых любопытных местах: взгромоздившись на чан в маслобойне, она смешила молочниц до колик, разыгрывая сцену из «Школы злословия»; свесив ножки с причала для баркасов над маслянистыми водами реки Скулкилл, притворялась, что ловит пальцами рыбу; а однажды разрешила пополам одну из своих прекрасных шалей, чтобы поделиться ею с горничной, которая шаль похвалила. («Смотри, теперь у нас обеих по половинке шали – значит, мы стали близнецами!») Никто не понимал, что она за птица, но никто ни разу ее не прогнал. И не из-за того, что Ретта была очаровательна, просто отделаться от нее было невозможно. Оставалось лишь одно – смириться.

Ретта умудрилась расположить к себе даже Беатрикс Уиттакер, что было поистине замечательным достижением. Ведь логично было бы предположить, что Беатрикс Уиттакер возненавидела бы Ретту Сноу. Ретта воплощала все величайшие страхи Беатрикс по поводу девочек. Она воплощала все то, что Беатрикс старалась *не* воспитать в Альме и Пруденс: была напудренной, беспомощной, пустоголовой и тщеславной девчонкой, которая портила дорогие танцевальные туфли, гуляя в грязи, мгновенно ударялась из смеха в слезы и невежливо показывала пальцем на людях; ее никогда никто не видел с книгой в руках, и ей ни разу не хватило ума прикрыть голову под дождем. Разве могла Беатрикс Уиттакер проникнуться симпатией к такому созданию?

Альма предвидела, что это может стать проблемой, и даже пыталась спрятать Ретту Сноу от Беатрикс в самом начале их дружбы, опасаясь худшего в случае, если они все же встретятся. Но Ретту было не так просто спрятать, а Беатрикс – не так просто обмануть. Прошло меньше недели со дня их знакомства, и однажды утром за завтраком Беатрикс спросила:

– Что это за *дитя с безумным зонтиком* носится по моему саду в последние дни? И почему она всегда с тобой?

Так Альма была вынуждена представить Ретту матери, хоть и не хотела.

– Как поживаете, миссис Уиттакер? – поздоровалась Ретта, начав вполне благопристойно. Ей даже хватило ума сделать реверанс, хоть, пожалуй, и чересчур нарочитый.

– А ты как поживаешь, дитя? – отвечала Беатрикс.

Беатрикс не ожидала услышать честный ответ на свой вопрос, но Ретта отнеслась к нему серьезно и поразмышляла немного, прежде чем ответить.

– Хм... знаете, что я вам скажу, миссис Уиттакер? Совсем нехорошо я поживаю. Сегодня утром в нашем доме случилась страшная трагедия.

Альма встревоженно встрепенулась, понимая, что вмешиваться бесполезно. Она понятия не имела, куда их заведет беседа. Ретта весь день была в «Белых акрах», веселилась, как всегда, и сейчас Альма впервые услышала о страшной трагедии в поместье Сноу. Она взмолилась, чтобы Ретта замолчала, но девушка продолжала, как будто Беатрикс просила ее об этом:

– В это самое утро, миссис Уиттакер, я ужасно перенервничала. Одна из наших служанок – моя милая ирландская горничная, если точнее, – на завтрак явилась вся заплаканная, вот

я и пошла за ней в ее покои, когда доела, чтобы разузнать о причинах такой печали. И угадайте, что же я узнала! Оказывается, ровно три года назад в этот самый день у нее умерла бабуля! Стоило мне узнать об этой трагедии, и на меня тоже накатили слезы, что вы наверняка можете себе представить! Я, наверное, час проплакала у бедняжки на постели. Слава богу, она была там и утешила меня. А вам не хочется плакать, услышав эту историю, миссис Уиттакер? Узнав, что бабуля умерла три года назад?

При одном воспоминании об этом инциденте большие зеленые глаза Ретты наполнились слезами, которые вскоре покатались по щекам.

– Какой феерический бред, – осуждающе выпалила Беатрикс, чеканя каждое слово. Альма с каждым произнесенным слогом вздрагивала. – Ты хоть представляешь, сколько раз я была свидетелем того, как умирают чьи-то бабушки, в моем-то возрасте? И что, если бы я стала по каждой из них плакать? Смерть бабушки – это не трагедия, дитя, а уж смерть чужой бабушки три года назад совершенно точно не причина для слез! Бабушки умирают, дитя. Так заведено. Можно даже поспорить, что в этом их предназначение – умирать, преподав, посмею надеяться, молодому поколению уроки приличия и знаний. Кроме того, подозреваю, что ты не слишком утешила свою горничную, которой было бы куда полезнее увидеть в твоём лице пример стойкости и собранности, чем лицезреть истерику на своей кровати!

Ретта выслушала эту критику с простодушным и искренним видом, пока Альма съеживалась от ужаса. «Ну все, Ретте Сноу конец!» – подумала она. Но тут Ретта вдруг рассмеялась:

– Превосходное замечание, миссис Уиттакер! Какой у вас свежий взгляд! Вы совершенно правы! Никогда больше не стану думать о смерти бабушки как о трагедии!

Альме показалось, будто слезы Ретты поползли по щекам обратно вверх и на глазах высохли.

– Теперь же мне пора откланяться, – как ни в чем не бывало проговорила Ретта. – Сегодня вечером я намереваюсь пойти на прогулку, поэтому должна отправиться домой и выбрать лучшую из своих прогулочных шляп. Я так люблю гулять, миссис Уиттакер, но только не в неподходящей шляпе, как вы сами наверняка прекрасно понимаете. – Ретта протянула Беатрикс руку, и та не смогла отказаться и не пожать ее. – Миссис Уиттакер, какое полезное знакомство! Не могу даже представить, как отблагодарить вас за вашу мудрость. Вы царь Соломон среди женщин, и неудивительно, что ваши дочери вами так восхищаются. Ах, если бы вы были моей матерью, миссис Уиттакер, я бы тогда не стала дурочкой! К вашему прискорбию, сообщу, что у моей собственной мамочки в жизни не промелькнуло ни одной разумной мысли! А главное, она так густо мажет лицо воском и пудрой, что похожа на манекен в витрине портного. Представляете, до чего мне не повезло, что меня воспитал неграмотный манекен, а не такая дама, как вы. Что ж, я, пожалуй, пойду!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.